

К 195-летию М. Ю. Лермонтова

Николай Скромный — едва ли не самый талантливый прозаик, пришедший в литературу в 80-е годы, и, наверняка, самый недооцененный. Его характер полностью соответствовал фамилии — удивительная скромность Николая Александровича не позволяла ему рекламировать себя, требовать внимания от критиков и литначальства. А между тем эпопея “Перелом”, написанная им о коллективизации, несомненно войдет в историю русской литературы. В последние годы Скромный работал над романом о М. Ю. Лермонтове. Завершить его писателю не удалось: Николай Александрович умер в январе 2007 года, не дожив до 60-летия.

НИКОЛАЙ СКРОМНЫЙ

ЛЕРМОНТОВ

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

1. БАЛ

Светски гостеприимных домов в маленьком Пятигорске было немного. Петербургская и московская знать, ежегодно приезжавшая на воды, собиралась своим, давно сложившимся кругом в доме генеральши Мерлини.

Гости были в основном приличного возраста, поэтому мужчины вечера обычно проводили под вино за картами, их чванно-чопорные жены — за пирожными и сплетнями.

Впрочем, играли в городке по-разному, где по мелочи, а где и по-крупному, в том числе у той же Мерлини. Английский полковник, сэр Генри Мильс, каждый год приезжавший в Пятигорск со своим кузенком, эсквайром Джеймсом Гаррисоном, с целью провести сезон за карточной игрой, как-то заметил, что в этом захолустном городшке порой делают такие высокие ставки, о каких не во всяком европейском игорном доме услышишь.

Сама Екатерина Ивановна, сорокасемилетняя вдова-генеральша, считала себя дамой-эмансипе, держала конюшню породистых скаковых лошадей, имела большую картинную галерею работ итальянских и фламандских художников, хорошую разнообразную кухню.

Днем, когда потрепанные отцы семейств подолгу отмачивали в Сабанеевских и Варвациевских купальнях застарелые подагры и до одышки наливались ключевыми водами, а вечерами с азартом чертили мелками по зеленому сукну, чтобы к концу игры со старческим сопеньем отсчитывать ассигнациями проигрыши, для их великовозрастных деток, — да и для гостей помоложе, преимущественно из гвардейской молодежи, — генеральша устраивала пикники на лесных берегах Поддумка и, будучи сама лихой наездницей, в костюме амазонки возглавляла верховые прогулки в горы.

Известен был в городке и открытый дом Озерских. Сам хозяин управлял Калмыцким улусом, имел средства и слыл большим либералом. Может,

поэтому в его доме можно было встретить и важных столичных господ, и старших офицеров различных полков, и сосланных на Кавказ декабристов известных фамилий, и крупных степных помещиков, заезжих купцов и купчиков, и местных, пятигорцев, различного чина-звания, и даже жителей бедных казачьих слободок. Словом, публика порой собиралась самая разная. Одним это нравилось, кому-то претило, а хозяин втайне гордился своей простотой и гостеприимностью.

Молодежь из военных привлекала дочь Озерского — Сашенька, молодая, очаровательная барышня, рано перенявшая опыт и манеры полновластной хозяйки дома, — со своими подругами.

Дом бывшего наказного казачьего генерала Петра Верзилина был маловат для больших званых вечеров, но в хлебосольстве превосходил все остальные. Когда об этом заходила речь, многие понимающе улыбались: три дочери на выданье, тут поневоле проявишь радушие. Сам хозяин, генерал Верзилин, дослуживал последний год в Варшаве, вела дом и хозяйство его жена, Марья Ивановна.

Если эти три дома и соперничали в именитости постоянных гостей, то во многом из-за женского тщеславия, мужчины на это смотрели просто. Завсегдатаю одного дома не возбранялось побывать на вечере в другом, если туда, положим, была приглашена его дама.

В кавказском предгорье Пятигорск был одним из немногих городков, в котором “старым кавказцам” многое напоминало свои среднерусские города, милую далекую родину, дом, стареньких родителей...

Число приезжавших на воды в летнее время делало его необычайно многолюдным, оживленно-веселым. Полковой оркестр, игравший по вечерам на бульваре, создавал ощущение ежедневного праздника, а простота нравов, знакомств, свобода общения удивляли всех, кто приезжал впервые.

Здесь и офицер-“кавказец”, годами не бывавший на родине, и офицер, разжалованный в рядовые за воинское преступление, и сосланный декабрист, и отбывающий ссылку гражданский вольнодумец могли неожиданно встретиться с давнишним приятелем, с которым давно была утрачена всякая связь.

Для служивого любого из полков, расквартированных по Северному Кавказу, считалось большой удачей провести летний месяц в Пятигорске. Выздоровившие после болезней и ранений не спешили возвращаться к месту службы. Выписанные из госпиталя, многие искали возможность задержаться в городке. Врачи, сочувствуя, выдавали медицинские предписания, в которых рекомендовали имяреку для окончательного восстановления здоровья пройти курс лечения местными целебными водами.

Пятигорский комендант, старый Ильяшенко, бурчал, пеняя врачам на их филькины грамоты, однако никогда не препятствовал, чтобы тот или иной офицерик задержался после госпиталя на пару недель в городке. Пусть немного развеется после больничной койки, прежде чем вернуться на долгие месяцы в отдаленный гарнизон, в котором от безделья и скуки на луну воют, либо того хуже — уехать к черту на кулички в полевой лагерь, в палаточно-бивуачную жизнь. А получить свою пулю на Кавказе он всегда успеет.

Из числа постоянных гостей у Верзилиных чаще всего бывали офицеры, которым после госпиталя Марья Ивановна великодушно предоставляла отдельный домик, где они могли жить в домашних условиях.

Брать какие-то деньги за постой она считала неприличным, хотя цены на квартиры в городке были довольно высоки: с весны по глубокую осень Пятигорск переполняли отдыхающие, порой летом на воды съезжалось до полутора тысяч семейств.

В то лето одну половину сдаваемого верзилинского домика, разделенного общим коридором с отдельными входами, занимал бывший сослуживец Верзилина полковник Зельмиц с двумя дочерьми, в другой жили — каждый в отдельной комнате — отставной майор Мартынов, раненые корнет-конногвардеец Глебов и поручик Раевский.

Точного часа гостям не назначалось. Отношения хозяек и постояльцев сложились настолько дружескими, что каждый мог придти в любое время и

к кому угодно: к Марье Ивановне — серьезно поговорить, посоветоваться, к ее дочерям — полубезничать. На праздничные либо тезоименные вечера собирались к восьми вечера.

К тому времени спала жары, зеленело небо над краснеющими под вечерней зарей горами, на нижних, потемневших улочках становилось по-вечернему свежо, тоньше слышался запах цветников и липовой аллеи вдоль разогретого за день бульвара, густо залитого гуляющей публикой, призывно-празднично неслись над городком звуки полкового оркестра. Женские голоса, смех становились чарующе привлекательными, загадочнее, прелестнее, обворожительнее. В домах горели огни, в присутственных местах и вдоль бульвара зажигали фонари. Курорт особенно хорошо оживал к вечеру, ночи...

Особого повода собираться у Верзилиных в воскресенье тринадцатого июля не было. Собрались по обыкновению да, еще отчасти из грустного чувства близкой разлуки. Лермонтов и Столыпин утром следующего дня уезжали в Железноводск — закончить курс лечения в Калмыцких ваннах, после чего им надлежало отправиться в Хан-Шуру. Позже разъезжались и остальные, кто куда — кто по своим полкам к месту службы, кто возвращался в Россию, — когда еще придется свидеться, собраться кругом старых приятелей за одним столом!

Как обычно, накануне намыли полы и распахнутые в сад на весь день окна, выбили ковры и накидки, привычно, чтобы не мешала танцам, расставили мебель, поменяли цветы в вазах и свечи в люстрах, — к семи часам дом был убран.

Первым, как всегда, пришел Зельмиц, самый задушевный собеседник Марьи Ивановны. О житейских делах, повседневных хлопотах по ведению большого верзилинского хозяйства и даже в делах, где требовался чисто женский ум, он мог говорить с ней часами и куда с большим увлечением, нежели о перипетиях воинской службы. Сближала их до родственных чувств одна, главная забота в жизни — замужество дочерей.

Неумно говорливый, любопытный, он непостижимым образом одним из первых узнавал обо всех пятигорских событиях и первым спешил сообщить их простодушной и впечатлительной Марье Ивановне. Будучи глубоко уверенным в своих незаурядных хозяйственных способностях и до свирепости экономным, вплоть до того, что сам чинил дочерям белишко, он считал своей прямой обязанностью помогать хозяйкам на вечерах в их достойном проведении. Совался на кухню к повару, невпопад давал советы горничным, сердито распоряжался во дворе, чем немало веселил работников и злил прислугу.

Вслед Зельмицу пришли Глебов с Раевским. Молоденький поручик страстно любил компании, но по бедности стеснялся бывать в женском обществе. Глебов всякий раз чуть ли не приказным тоном заставлял его идти вместе с ним. Барышни понимали поручика, пичкали его, как ребенка, сладостями, а добрейшая Марья Ивановна, будто бы доверяясь его вкусу, частенько зазывала на кухню “снять пробу”. Как-то Трубецкой застал его за этим невинным занятием — поручик, не церемонясь особо, стоя ел с тарелки жаркое, обильно политое красным соусом.

— Ты бы, Николай, с ним поосторожнее, — предупредил Трубецкой, кивнув на тарелку, — все-таки приправа...

— Почему? — удивился поручик. — Да я эти приправы, перцы разные... любому грузину форы дам, я этот перец... нипочем!

— Там еще и чеснок, — мягко остановил его Трубецкой, — а сейчас танцы, дамы... — и улыбнулся, глядя, как вытянулось лицо у простоватого поручика.

Желанным гостем встречали у Верзилиных и конногвардейца Глебова: его легкое ухаживание за Надеждой, одной из хозяйских дочерей, Марья Ивановна расценивала началом серьезных отношений с дочерью — уж больно по душе пришелся ей открытый, добросердечный “Глебушка”.

Чуть позже пришли Трубецкой с Васильчиковым, снимавшие по отдельной комнате в основном доме того же Чилиева. Помалу подтягивались остальные: поручик Диков — застенчиво-молчаливый и вместе с тем упорный поклонник средней дочери Аграфены, Грушеньки, как ее называли в доме;

за ним — Лермонтов, на сей раз без Столыпина, который сказался нездоровым. Следом пришли Бенкендорф и Лев Пушкин, также жившие по соседству. Из привычного круга гостей не было одного Мартынова, он всегда приходил последним. Других вроде бы не ожидалось, но если бы кто и пришел неожиданным, его встретили бы со всей добросердечностью.

Встречали гостей Марья Ивановна со старшей дочерью Эмилией. Расцеловав ручки хозяйкам, гости проходили в зал. Бенкендорф вручил Эмилии коробку конфет. Марья Ивановна, зная о завтрашнем отъезде Лермонтова, искренне сожалела:

— Жаль. Ах, как жаль! Но вы, надеюсь, еще будете у нас до отъезда в крепость?

— Непременно, — ответил Лермонтов, отдав горничной Дашутке фуражку и приглаживая на затылке волосы. — Вчера представил Ильяшенко свою подорожную: "...явлено к отъезду". Буду, и не раз. Надо проститься по-доброму. Кто знает, свидимся ли еще. Черкесская пуля беспристрастна. В отличие от женщин, она не отдает предпочтения ни генералу, ни майору, ни поручику.

— Бог знает, что вы говорите! — сердясь, махнула на него рукой Марья Ивановна, — даже слушать страшно!

Эмилия на мгновение смешалась, но тут же мило улыбнулась гостю: от этого господина еще не то можно услышать. И дал же Бог дарование такому злоязычнику!

Зала помалу наполнялась гостями. Когда из своей комнаты вышла Надежда, самая младшая из верзилинских сестер, Бенкендорф, который, кажется, был влюблен во всех сестер сразу, вдруг предложил пойти к Найтаки в гостиницу, устроить там небольшой танцевальный вечер. Предложение для девиц оказалось неожиданным, никто к выходу не готовился... А впрочем, что готовиться?

Услышав это, Марья Ивановна неприятно удивилась:

— И опять оставить меня одну? Вот мило! Чем же здесь плохо? Пообщайтесь, потанцуйте по-домашнему. — И указала на сидевшего в кресле Лермонтова. — Вот и Михаил Юрьевич говорит — когда еще так съедемся... Десерту — довольно, мужчинам — закусить в буфетной... ужин... Что за охота ноги вверх-вниз бить! Нет, нет, в другой раз! Не позволю! — решительно объявила она и пошла в буфетную, к горничной и повару.

И все как-то легко согласились с нею.

Бенкендорф сел за рояль. Этот жизнерадостный юнкер любил всякие вечера, застолья, компании, был непременным участником любой мужской вылазки, озорной затеи.

Мужчинам нравилось бывать у Верзилиных. После своих прокуренных, застарело-кисло пропахших вином комнат приятно было прийти в дом, где живут молоденькие женщины — запахи духов, пудры и еще чего-то неизъяснимо приятного, девичьего, женского.

Под бравурные звуки марша из "Влюбленной баядерки" мужчины подходили к барышням и во всех концах комнаты в три-четыре человека образовывали свои кружки. Гости интересовались новостями, рассказывали о своем, обменивались любезностями, безобидными шутками — все проходило, как обычно в начале вечера.

Лев Пушкин за легким разговором с Марьей Ивановной безбожно подольстился к хозяйке: когда, осведомившись о ее здоровье, услышал легкий вздох и слова о недомогании в ее возрасте, он, как бы досадуя, возразил:

— Вы простите за откровенность, Марья Ивановна, но это уже просто кокетство. Кто не знаком с вами, очень просто может принять вас за старшую сестру ваших дочерей!

— Вы, Левушка, известный любезник, — мило покраснела хозяйка, — да комплименты не по адресу, — и указала на дальний угол залы, где возле зельмицевских сестер менее всего было молодых людей, — вы их там расточайте, там они нужнее.

В зале помалу становилось все оживленнее, праздничнее. Громче раздавались мужские голоса, звонче слышался женский смех.

Добровольным распорядителем и здесь был Зельмиц. Полковник каждой танцевальной части вечера пытался придать нечто галантно-польское — прежде всего из желания угодить Эмилии, чувствуя за кукольной внешностью с ангельским взором голубых глаз хорошо скрываемое тщеславие и властный характер шляхтянки. Вместе с тем ревниво следил, кто из гостей чаще всего приглашает его дочерей на танец, не обойдены ли они мужским вниманием.

Бенкендорф продолжал играть — и не дурно — отрывки из известных опер, чередуя их наигрышами веселых полковых песен, — разогревал гостей. Зельмиц подошел к нему и, склоняясь к плечу пианиста, попросил сыграть старинный польский “Александр, Елизавета”, с которого обычно начинали танцы в больших залах на торжественных вечерах.

Лермонтов, по обыкновению сидевший в кресле в дальнем углу зала, не выдержал, поманил к себе Раевского:

— Слеток, будет с нас музыки. Садись вместо него, — кивнул он на Бенкендорфа, — сыграй кадрили. Пусть уж лучше танцуют, чем шепчутся.

Сменив юнкера за роялем, Раевский тут же заиграл быструю польку. Мужчины, из тех, кто был в ту минуту в зале, стали церемонно, как и было свойственно при первом танце, приглашать дам. В это время в залу вошел Мартынов. Он всегда приходил последним — много времени занимал туалет.

Он действительно был хорош собою: в ослепительно белом бешмете под черною черкеской тонкого верблюжьего сукна, с откидными рукавами, перехваченной по талии серебряным наборным поясом, с неизменным дагестанским кинжалом на поясе, он и вправду напоминал высокородного кавказского князя-воина.

Взоры женщин разом обратились на вошедшего. Он ответил общим коротким поклоном. Лермонтов перехватил загоревшийся взгляд Надежды, нахмурился. Раевский весело крикнул:

— Николай! Вот дама, — и указал на Катеньку Зельмиц, сидевшую рядом с ним у рояля. — Сейчас начнем!

Мартынов с каменным лицом прошел в комнату к Марье Ивановне. Катенька сконфузилась, стала с преувеличенным вниманием следить за игрой пианиста. Гость, засвидетельствовав свое почтение хозяйке, вышел в залу, надолго остановился в дверях, словно высматривая, кто из присутствующих достоин того, чтобы подойти к нему. Наблюдая за ним, Лермонтов еще больше помрачнел.

Он не мог понять, что с ним происходит. Приподнятого настроения, присущего подобным вечерам, не было. Усталость от постоянных верховых разъездов? Но верховые прогулки ему всегда в удовольствие. Недавняя размолвка с князем Голицыным из-за бала, который князь послезавтра дает в честь своих именин? Пустое, пора забыть, да и князь не из числа обидчивых — одному из первых прислал приглашение... Вот этот театрально-надменный красавец? Что ж на него-то злиться, он всегда был смешон, хотя, в сущности, добрый, безотказный мальчишка. Может, в самом деле, гнетет скорый отъезд в Хан-Шуру, откуда Бог знает когда вырвешься? Но и к крепостной скуке ему не привыкать, будет время заняться литературой... Повода к невеселому расположению духа вроде бы не было, а вместе с тем на душе было грустно... Надо встряхнуться, черт с ними, с этими мрачными мыслями, мало ли их было!

В высоких окнах медленно гасли короткие южные сумерки, верхние стекла светились розовеющими облачками, горными вершинами, еще освещенными уходящим солнцем, нижние оконца уже темнели вечеряющим садом, слабым туманом между деревьев...

2. ВЫЗОВ

Он вошел к себе, охваченный такой тупой злобой, что долго не мог собраться с мыслями, о чем-то взвешенно подумать. Тяжело дыша, сел к столу, положил холеные руки через всю столешницу и, закрыв глаза, низко опу-

стил голову. В воспаленном воображении замелькали картинки недавнего бала, вечера, улыбающиеся лица, полетели кругами в неверном блеске свечей танцующие пары, послышались звуки музыки, голоса, звон бокалов, женский смех, отдельные фразы, среди которых, обрывая сердце, громко раздавалась по зале хлесткая, как пощечина, лермонтовская издевка...

Он расстегнул тугой ворот бешмета и громко крикнул слугу Ильюшку. Когда тот, напуганный необычным поведением властного барина, робко заглянул в комнату, приказал ему, как только придет Глебов, немедленно позвать сюда конногвардейца. Ильюшка тихо прикрыл дверь, снова затаился в прихожей.

Он распоясался, снял кинжал, черкеску и, чтобы окончательно взять себя в руки, попытался раскурить трубку. К столу больше не садился — то бродил по комнате, то останавливался посередине, невидяще глядел в окно, полное лунного света.

Через четверть часа в прихожей послышались голоса, и тотчас без стука в комнату вошел Глебов. Еще возбужденный недавним балом, вином, приятным общением с молодыми девицами, весело пошутил с порога:

— Что, еще по стаканчику твоего хваленого имеретинского? Вместо капель? В самом деле, чудная ночь, пожалуй, не скоро заснешь...

Стоя у стола и отстукивая по нему костяшками пальцев каждое слово, Мартынов наигранно-ровным голосом объявил свое решение вызвать Лермонтова на дуэль.

У Глебова округлились глаза.

— Ка-ак? Ты... на дуэль? Лермонтова?

Мартынов мрачно кивнул головой.

— Да ты что, Николай! Да ты шутишь? — все больше изумлялся Глебов.

Так же мрачно Мартынов отрицательно покачал головой.

— Да за что? Это вы сейчас... на дороге? — совсем растерялся конногвардеец.

— На дороге... — тихо ответил Мартынов, кося глазами к двери.

— А из-за чего? Из-за сегодняшнего? На вечер? — неуверенно предположил Глебов.

— Из-за давнешнего! — резко бросил ему Мартынов. — Но сегодня кончилось.

— Да объяснись ты, ради Бога! — уже взмолился Глебов. — Что случилось?

— Ты слышал, что он... сегодня? — с некоторым усилием спросил Мартынов.

— Ну, слышал, — нетерпеливо ответил Глебов. — Да глупость все это! Ты же видишь — он сам не в себе в последнее время. Уезжает. Отсюда — нервы, злость, обида... ревность!

— А коли слышал, то понимаешь, что этому пора положить конец, — и Мартынов непримиримо скрестил на груди руки.

Конногвардеец помрачнел.

— Да будет тебе, Николай! Ей-Богу, это уже становится скучно, — поморщился он, усаживаясь на диван. — Один брякнул со злости, другой... Ну, повздорили, надерзили друг другу, да с кем не бывает. Что ж раздувать-то пустяшное дело.

— Это для вас оно пустяшное, в чем я уже убедился, а для меня оно теперь стало делом чести, — твердым голосом ответил Мартынов.

— Ты что, Лермонтова не знаешь? — досадливо улыбаясь, спросил Глебов. — Да он завтра же утром прибежит к тебе за прощением! В первый раз ему, что ли?

— Не в первый, ты прав. Да грош цена его слову.

Глебов вдруг улыбнулся ему той доброй, ласковой улыбкой, которую любили в нем все, кто его знал:

— Николай, отпусти ты ему. Он скоро в отряд уезжает. Бог ему судья. Мы все не без греха.

В ответ Мартынов сказал, что поединок откладывать не намерен, дуэль должна состояться послезавтра, в любое удобное для Лермонтова время.

— Ах, как это... не к месту, — уже болезненно улыбался, отводя глаза, конногвардеец. Сказать правду — назвать глупостью очередную выходку приятеля — не решался, опасаясь еще более распалить вспыльчивого отставника, и еще раз попытался смягчить положение.

— Пустое! Успокойся. Завтра на свежую голову объяснитесь, и все уладится. Уверяю тебя, — мягко добавил Глебов, — он уже раскаялся.

Но Мартынов, застыв посреди комнаты статуей командора, сказал, что теперь он вынужден драться, поэтому просит его, Глебова, быть секундантом.

Конногвардеец впервые посмотрел на него с интересом.

— Послушай, Николай, ты скажи откровенно: за что вызываешь? Если из-за этого глупого “кинжала”, то тебе никто не поверит. Нет ли другой причины?

— Причин много, — глухо обронил сверху Мартынов на сидящего Глебова. — Все перечислять — займет время.

— Ничего, время есть, — строго ответил конногвардеец, чувствуя, что поссорившихся будет не так просто примирить. — Все-таки дуэль. Нужна веская причина. Я хочу ее знать, коли просишь в секунданты.

— Причина? — дико уставясь в пол и словно у самого себя спросил Мартынов. — Причину спрашиваешь? — и вдруг белым вихрем метнулся по комнате. — Причина одна: он превратил мою жизнь в сущую пытку! Нет дня, чтобы он не оскорбил меня. Сколько раз я просил его оставить свои остроты. Бесплезно!

Он подбежал к столу, оперся руками и впился горящими глазами в удивленное лицо конногвардейца.

— За что? Чем я перед ним виноват? Чем обидел? Ну, ты лучше меня, умнее, храбрее, талантливее, но зачем же беспрестанно унижать меня?

Злость перехватила дыхание, он почувствовал на глазах слезы и, чтобы не выдать себя, с силой оттолкнулся от стола.

— Не далее как дней десять назад я просил его прекратить насмешки в мой адрес, хотя бы в обществе. Он, сидя на твоём месте, чуть ли не клятвенно обещал. И что же? Ты сегодня услышал. Да за одно это... — Мартынов с трудом справился с собой, вскинул голову. — Но довольно! Мое терпение имеет пределы, а моя честь мне не менее дорога, чем его — ему. Михаил, еще раз спрашиваю: ты согласен быть моим секундантом?

Глебов молчал под впечатлением услышанного, все больше уверяясь в серьезности ссоры.

— Разумеется! — словно очнулся он. — Но как к этому сам Лермонтов...

— Благодарю! — торжественно остановил его Мартынов. — Тогда я вот о чем попрошу. Он завтра уезжает. Так ты, пожалуйста, рано утром сходи к нему. Подтверди вызов. Пусть он подыщет себе секунданта, чтобы вы сразу могли обговорить условия. — И, понизив голос, с горечью продолжил:

— Я понимаю тебя: ты не веришь, тебе все это неприятно... секундантом... ты даже вправе сейчас дурно думать обо мне, — Мартынов быстрым жестом остановил Глебова, попытавшегося что-то сказать. — Понимаю тебя, друг мой! Но я оказался... нет — это он принудил меня идти на крайнюю меру. Завтра в разговоре с ним ты в этом убедишься.

Глебов тяжело поднялся, медленно прошел к двери. Мартынов настроенно следил за ним.

— Даже не знаю, что и ответить тебе, — печально признался конногвардеец, берясь за дверную ручку.

— Ничего не надо говорить, — с деланной простотой отозвался Мартынов. — Пожелаем друг другу покойной ночи... Не проспять бы нам. Я накажу своему Ильюшке... И не думай, пожалуйста...

Глебов грустно хмыкнул и вышел.

...Ночь провел дурно. Глубоко уснуть не мог, временами забывался коротким тревожным сном, очнувшись, долго лежал в темноте, в оцепенении с одной тяжелой мыслью: Лермонтов, вызов, дуэль...

Поднялся, лишь только забрезжило в окнах. Глебова пока будить не стал, разбудил своих слуг, безмятежно спавших в людской. Ермошке прика-

зал следить за лермонтовским двором: как только что заметит — немедленно сообщить ему. Хмурый Ильюшка принес в высокогорлом кумызком кувшине воды, таз, полотенце. Он разделся до пояса, попросил слить на спину.

Холодная вода взбодрила, вернулось твердое решение: только дуэль. Илья ушел разжигать самовар, готовить завтрак. Он вышел во двор.

Заря занялась уже в полнеба. По вершинам гор, по их остроконечным зубцам, венчающим изумрудную зелень отрогов, словно на царской короне, разноцветными дорогими камнями пламенело солнце. Мягким розовым светом отдавали известняковые стены купален, беленые домики на верхних улочках городка, но в низинах было еще по-ночному сумрачно, тихо, безлюдно.

Он прошел к общему деннику, к своему коню. Абрек на длинной оборти повернул к нему голову, по-детски уткнулся мордой в живот хозяину, печально и шумно выдохнул. Он ободряюще потрепал коня по холке — за эти месяцы они привыкли друг к другу, жаль будет скоро продавать, расставаться... Прошел к дороге, ближе к чилиевским флигелям, в одном из которых квартировали Лермонтов со Столыпиным, — и там было тихо. Не прозевал бы Ермошка, небось, куняет где-то под плетнем, добирает, каналья, сладкий утренняя сон...

Возвращаясь к себе, в общем коридоре прислушался — и в комнате Глебова стояла тишина. Не видно, не слышно было и его слуги. Заставил себя сесть к столу, через силу позавтракать, не чувствуя ни вкуса полусохшей булочки, ни привкуса масла, которое отдавало тонкой прелью, и, только допив второй стакан крепкого чаю, вдруг понял, что хочет, страстно хочет, чтобы сбылись вчерашние слова конногвардейца и сейчас прибежал бы Лермонтов со словами раскаяния, с извинениями. Вряд ли бы он их принял. Но они бы подтвердили справедливость вызова, придали бы еще большей уверенности и решимости драться.

Но не было ни Лермонтова, ни Глебова, ни Ермошки. Выколотив на бумажный листок трубочку и набивая ее свежим табаком, неприятно усмехнулся: вот до чего дошло — ждет известия от глупого малого. Нет, пора будить Глебова.

Однако будить не пришлось — через несколько минут к нему вошел уже одетый конногвардеец. На этот раз Глебов держался сухо, сдержанно. Мгновенно уловив его душевный настрой, Мартынов в тон ему повторил свою вчерашнюю просьбу: немедленно идти к Лермонтову с тем, чтобы подтвердить вызов и обговорить условия дуэли, заявив при этом себя секундантом.

Глебов внимательно выслушал, потом спросил, нет ли у Мартынова чего добавить к сказанному. Добавить было нечего. Глебов пообещал слово в слово передать просьбу.

Мартынов остался один.

Стук двери за Глебовым остановил время. Какое-то странное безволие, доходящее до физической слабости, охватило его. Черенком погасшей трубочки стал выкладывать из рассыпанного по столу мелкого табака кружочки, квадратики, крестики... Отложив трубочку, глянул в окно — было уже совсем светло. Слева от окна, на простенке, висел недавно купленный в подарок родным кавказский шерстяной ковер — цвета свежей крови, с замысловатым желто-зеленым орнаментом по краю. На середине ковра тускло отсвечивали подвешенные крест-накрест два дагестанских кинжала, а над ковром, из-под самого потолка за ним выжидательно-тупо следила стеклянными глазами козлиная морда с круто-витыми рогами. Быстро глянул в другую сторону, на звуки за дверью, у порога которой, на светлом крашеном полу лужицей засохшей черной крови темнел истертый “персидский” коврик; застав дыхание, прислушался — нет, это кто-то из жильцов прошел в людскую, заговорил с Ильей, голос конногвардейца лишь почудился... Отстраненно подумалось, что подобное состояние он уже переживал однажды — в деле под Герзель-аулом, с отрядом, в длительной засаде, поджидая на выстрел осторожных горцев...

Среди беспорядочно-сумбурных мыслей время от времени мелькала и такая: а что если сейчас вместе с Глебовым войдет Лермонтов, дружески про-

тянет руку... Не-ет, господин Лермонтов, мне ваши извинения здесь не нужны. Извольте просить прощения в тех местах, где вы оскорбляли меня, и в том же присутствии лиц! Или принять? Это уж как станет просить...

Вернулся Глебов совсем в ином настроении. Распахнув дверь, весело блестя черными глазами, белозубой улыбкой, громко объявил:

— Ну, так слушай! Лермонтов спокоен, к тебе уважителен... Мне кажется, что он готов просить у тебя извинения где угодно, в любом присутствии. Вот и вся ваша ссора. Не я ли говорил, — сдержанно торжествуя, напомнил он, проходя к дивану и дружески приобняв на ходу хозяина.

— Что еще? — спокойно спросил Мартынов.

— Тебе мало? — продолжал улыбаться конногвардеец.

— Мало. Ты подтвердил мой вызов?

— Разумеется!

— Это все? — в деланом недоумении высоко поднял брови Мартынов. — О чем же вы битый час говорили? Он хотя бы сознает свою вину?

— Ну, коли готов извиниться, стало быть, сознает.

— Он сам сказал тебе, что готов извиниться? Нет? Значит, это только твои догадки? Ах, вот как! — в злобной радости вспыхнул Мартынов. — Он сознает! А он сознает всю подлость своего поведения по отношению ко мне? Сознает, что так поступают только законченные подлецы? Завистливые, мелкие людишки! Плебеи по роду и духу!

— Николай Соломонович! — предостерегающе повысил голос Глебов.

— Сознает! — злобно выкрикнул Мартынов. — Мне его извинения здесь не нужны, — с силой топнул он ногой в пол. — Не приму! Он оскорбляет меня везде и всюду. Пусть везде и всюду просит прощения!

— Он же сказал, что готов исполнить твою волю! — вскричал Глебов, начиная понимать, что Мартынов сейчас прав. — Почему сразу дуэль? Раз готов исполнить, то потребуй у него извинения! В присутствии кого угодно. Чего же тебе еще?

— Как — что мне еще? Да ты что, не понял? Ведь этими словами он принял мой вызов! Готов исполнить! А сам уезжает в Железноводск, оттуда через три дня — в полк! И поминай как звали. Ты-то понимаешь, в какое дурацкое положение он пытается меня поставить? В каком свете выставить? Я вызвал, и я же буду сидеть в ожидании, когда он соизволит... да я теперь уж и не знаю, чего он изволит! А если ничего не соизволит и уедет, я снова окажусь в дураках? Ловко! Теперь ты понял, что он за человек? Ну, уж нет, господин Лермонтов! Дуэль! А там как Бог управит.

— Вот это совсем лишнее, — с досадой ответил Глебов, раздражаясь тем, что все его надежды примирить противников рушатся.

— Кого он берет секундантом, не сказал? — живо спросил Мартынов. — Одного тебя как-то неловко.

— Не знаю, не говорили... Да не горячись ты, Николай. Дайте друг другу время.

— Не дам! — бешено вскрикнул отставник. — Теперь не дам! Я давал ему месяцы вести со мной себя дружески — не захотел. А теперь — не дам! Дуэль не позднее завтрашнего вечера.

— Ну, как знаешь, — в раздражении ответил конногвардеец и поднялся.

— Он еще не уехал?

— Собирается...

— Мне уже неловко просить тебя, Михаил, но не мог бы ты еще раз сходить к нему. Скажи, что я его извинений не принимаю. Будем стреляться. Пусть о поединке побеспокоится и он — выберет секунданта, что же взваливать на нас двоих.

Глебов понял, что дальнейший разговор бесполезен. Ему одному не уговорить взбешенного отставника.

Все в том же напряженном ожидании Мартынов снова затих у себя в комнате, снова стал невольно предполагать и представлять в лицах, что на этот раз ответит Лермонтов, кого наметит в секунданты и будет ли столь же убедителен и настойчив сейчас Глебов с Лермонтовым в попытках их примирить...

Прошло около получаса. Когда ждать стало невыносимо, в общем коридоре послышались голоса, он вскочил из-за стола, но вместо Глебова в комнату ворвался Ермошка и радостно сообщил, что господа Лермонтов и Столыпин только что верхами уехали в Железноводск, когда будут назад — неизвестно, “а их благородие Глебов зараз идуть сюды”. Что-то похожее на легкий приступ тошноты отозвалось внутри, стало ясно, какой ответ он сейчас услышит.

Конногвардейца вышел встречать во двор. В своих предположениях он не ошибся: дуэль, как он требует, состоится завтра. Право оружия, место и время — также определять ему, Мартынову. Лермонтов заранее согласен на любые условия.

“Что ж, вот все и кончилось, — мелькнуло у него. — Да оно и к лучшему!”

— Так тому и быть! — громко сказал он Глебову, бросив мгновенный, полный ненависти взгляд на чилаевский двор. — На моих так на моих, — добавил он, разумея условия поединка.

Глебов, понимая его состояние, негромко заговорил:

— Знаешь, Столыпин сейчас сказал, что мне не следует быть твоим секундантом. У Лермонтова могу, у тебя — нет.

— Почему?

— Объясняет тем, что мы с тобой живем на одной квартире. Общий стол и прочее. Могут усмотреть какой-то сговор.

— Какая глупость!

— Ну, сговор не сговор, а какой-то... умысел, что ли. Ты пойми правильно, Николай, я никому из вас не отдаю предпочтения, так или эдак я принимаю участие в поединке. Но мне кажется, что действительно было бы лучше, если я буду секундантом у Лермонтова. Зачем тебе эти слухи? Не проще ли тебе попросить кого другого?

Мартынов задумался. У него тоже возникло это опасение, но он о нем особо не задумывался. Что ж, Глебов, пожалуй, прав, нужен кто-то другой.

— А кто будет у него?

— Не знаю, не говорили об этом, — печально отозвался конногвардеец. — Столыпин, скорее всего... Николай, ты извини, но мне надо сейчас побыть одному, подумать. Ты пока держи в тайне. Позже поговорим.

И они разошлись по своим комнатам.

Возвратясь к себе, Глебов повалился на кровать. Более обычного ныла заживающая ключица, видно, долго и неловко лежал во сне — крепко заснул после вчерашнего вечера, вина, пережитого волнения. Вошедший следом слуга — гребенской казак — бережно стащил с него сапоги, набросил на ноги одеяльце.

Вечер и в самом деле по-доброму отложился в памяти конногвардейца. Жаль, закончился плохо. Впрочем, утро началось не лучше. Он понимал, что помимо своей воли втягивается в неприятную историю. Вряд ли дело дойдет до настоящей дуэли, но даже мирить двух самолюбиво-заносчивых приятелей — хорошего мало. Он пока скрыл от Мартынова, что Лермонтов, услышав стольпинское предупреждение, тут же предложил быть у него секундантом. Отказать Лермонтову конногвардеец не мог. Не у того, так у другого. Хорошо, если удастся примирить, а то ведь еще неизвестно, чем дело кончится. Лермонтов спокойно встанет под пистолет на любых условиях, Мартынов же упрям до дикости. Но один уехал, так и не сказав ничего определенного, от другого, кроме зубовного скрежета, ничего не услышать. Кто еще будет секундантом? Он один? Скверно все это...

За невеселыми размышлениями задремал, очнулся в десятом часу утра и сразу же, отказавшись от завтрака, отправился на квартиру к Трубецкому с Васильчиковым.

Постояльцы чаевничали. С приходом Глебова оживились, пригласили к столу. Трубецкой, ухаживая за гостем, подтрунивал:

— Напомни нам, Глебушка, прошлые стихи. Ты их, конечно, сразу наизусть выучил.

— Выучил и в лядунку молитвой зашил, — подхватил Васильчиков.

— В лядунке изомнутся. Он их в рамочку взял, — продолжал Трубецкой, сияя голубенькими глазками, размытым розовым лицом, белоснежным отложным воротом замашной рубахи.

— Напомни. Что-то я запамятовал: кто кому голым приснится? Ты — дамам или они — тебе?

Гость, жалея их утреннее благодушное настроение, со слабой улыбкой отмалчивался.

— Да что — сон, — сжалился над ним Трубецкой и подвинул пиалу с густым кизилловым вареньем. — Я бы предпочел наяву.

— Побойся Бога, Сергей, — засмеялся Васильчиков — Они еще дети.

— На юге созревают рано... Вместе с мамочкой, — и хитро сощурил глазки. — А что? Ей только-только за сорок, хороша собой, муж невесть где, достаток, хороший стол. И чего Манзей зевает?

— Ее Зельмиц зорче евнуха стережет, — напомнил Васильчиков. — Нет, Сережа, с такими красавцами, как Глебушка с Мартыновым, нам тягаться не под силу. Остаются только сны, а наяву — так только на рояле бренькать. Ах, эти голубые глаза, — лукаво поглядывал он на Глебова, — эти рыжие локоны, плечи...

— Зачем они ему? У него в пристрастии черные, — грубовато намекнул Трубецкой. — Кстати, друзья, вы не слышали новые стихи Дмитриевского о карих глазах? Очень хороши! Не уступят никому из наших известных поэтов. Вот их-то не помешает выучить. Ну а прочесть, — тут он снова лукаво покосился на молчавшего гостя, — Глебушка знает кому.

В другой раз Глебов с удовольствием поддержал бы веселый треп приятелей, сегодня было не до этого. Он рассказал о вчерашней ссоре Лермонтова с Мартыновым и обо всем, что за нею последовало. Выслушали его с удивлением, но, вопреки ожиданию, не только не обеспокоились, — оба еще больше оживились.

— Это в его духе, — с довольством улыбался Трубецкой. — Господин с большим кинжалом решил доказать свою непревзойденную храбрость.

— Свою глупость, — спокойно поправил Васильчиков. — А на чем?

— На пистолетах, разумеется, — вместо Глебова уверенно ответил Трубецкой. — Знает, что на саблях Лермонтов его в первую же минуту как на шампур нанижет.

— Зато на саблях как-то безопаснее, — неуверенно напомнил Глебов. — Пуля, как говорится, дура...

— Штык — молодец? — с суворовской живостью подхватил Трубецкой. — А по-моему, в этом случае каждому свое: молодцу — штык, дураку — дуру... На пистолетах? — уточнил он. — Ах, как интересно! Ай да Мартынов! Ему бы еще обрезаение сделать — стал бы урожденным горцем... Завтра, говоришь? Ах, молодец!

Веселость, с которой оба князя восприняли известие о дуэли, начинала раздражать. Глебов твердым тоном заявил, что дело обстоит серьезнее, нежели они думают. Надо что-то предпринимать, пока не поздно. Для начала поговорить, успокоить Мартынова, хотя бы для того, чтобы потом было легче разговаривать с Лермонтовым.

— Успокоим! — не унимался Трубецкой. — Подарим ему еще один кинжал, чтобы он походил на трех горцев сразу, он успокоится.

— А ведь этого следовало ожидать, — уже серьезнее заговорил Васильчиков. — Помните, я недавно говорил, что Мишеля надо поставить в рамки. Как чувствовал. А где Мартынов?

— Был дома, — тихо отозвался Глебов.

Васильчиков крикнул было своему человеку послать за дуэлянтом, но Глебов остановил: в таком сложном, тонком деле и зная характер Мартынова, надо проявить предельную уважительность, поэтому будет правильно, если они сами придут к нему на квартиру.

— Я не пойду, — решительно отказался Трубецкой. — Слушать его напыщенный вздор? Не хочу. Вы знаете, что я с ним тоже не в ладах... Сходите вдвоем, — попросил он. — Вы вдвоем уладите.

С неохотой пошел Васильчиков. По дороге Глебов пояснил ему особенности дела. Шел одиннадцатый час утра, становилось жарко. Васильчиков

рассеянно слушал спутника, думал о том, что сейчас хорошо бы на весь день выехать в лес, к реке, к костерку с ухой, а не шляться от дома к дому по склочным пустякам...

Мартынов встретил их спокойно, даже приветливо, но чувствовалась за его выдержкой и продуманными словами холодная настороженность. Глебов перекинулся с ним несколькими фразами, основной разговор предоставил вести Васильчикову.

Мартынов отвечал князю тем же, что недавно говорил конногвардейцу: поведение Лермонтова перешло все границы приличия, не говоря о прошлом товариществе. Похоже, зарвавшийся поручик задался целью по любому поводу и в любом обществе отпустить в его адрес оскорбительные остроты. Поэтому он, Мартынов, решил раз и навсегда покончить с этим.

Чем дальше объяснялся Мартынов, тем больше убеждался Глебов, что разгоревшуюся ссору вряд ли удастся быстро затушить. Он заметил, что и Васильчиков стал с интересом вникать в суть объяснений, — видно, и он понимал, что напрасно они с Трубецким сочли известие о дуэли очередной выходкой отставного майора — в ответах Мартынова, в интонациях его голоса горела решимость драться.

На увещевания князя не разбивать круг старых приятелей, а примириться да тут же сообща недельки на две закатиться в Кисловодск, продолжить отдых в более доступном дамском обществе, Мартынов с горечью ответил:

— Спасибо, друг мой! Да посуди сам, каково мне будет? Вам веселиться, а мне и там выслушивать его шуточки?

— Он в полк уедет.

— Что хорошего? Отпустив его, не кончив дела, — что может быть хуже?

На просьбу взять назад вызов Мартынов холодно удивился:

— Простите, господа, а вы от чьего имени пришли меня уговаривать? От своего? А что же Лермонтов? Он, получив вызов, даже не соизволил объяснить со мной. Не счит нужным. Взять вызов обратно. Вы за кого меня принимаете! Большого оскорбления самому себе нанести невозможно. Да я готов с ним на ножи пойти! Через платок стреляться! — И решительно отказал: — Нет и нет. Не может быть и речи. И оставим этот разговор... Однако как припекает нынче. Не угодно ли чаю?

Уязвленный в своем дипломатическом самолюбии, Васильчиков ушел ни с чем.

...Проводив визитеров за ворота, Мартынов вернулся в комнату. Чтобы чем-то занять себя, приглушить душевную муку, попытался привести в порядок свои бумаги, записи — черновики новой кавказской поэмы, начатые письма. Вскоре понял, что не только сосредоточиться над писаниной, — ему было больше невмочь находиться в комнате.

Через полчаса, уже тщательно выбритым, надушенным и нехорошо бодрым, вновь вышел к тому месту, откуда просматривались дворы чилиевских флигелей — там по-прежнему было пусто, тихо... В памяти вдруг снова возникла вчерашняя ночь, встали по темно-бирюзовому небосклону ярко озаряемые дивным лунным светом горные вершины, таинственные долины, заблестела в темноте кремнистая дорога с чернеющими на ней фигурами офицеров, послышались их глухие в ночи голоса, уговоры мирно разойтись, — и свои слова, свои ответы Лермонтову, которые теперь казались унижающе вялыми, недостаточно грозными...

Он стиснул зубы, мстительно сощурился. Все! Пришло его время. Вчерашний разговор, словно взмахами ножа, разрубил на нем путы. Отныне он свободен! Теперь не нужно делать улыбку при остротах, слушать которые стало невыносимо. Теперь уж он во всю силу проявит свою волю, свой характер. Этот подлец шутил, оскорблял до последнего часа. Да и сейчас издевается: его на дуэль вызвали, а он без объяснений уехал ванны принимать. Это ли не издевательство!

Да и остальные не лучше. Этот же Глебов. Ишь, какое сердечное участие принимает. А не ты ли, милый корнет, вместе с Лермонтовым рисуешь

оскорбительные карикатуры, сочиняешь к ним скабрзные стишата и показываешь дамам? Когда он, Мартынов, однажды застал их обоих за этим занятием, ты, душка-Глебушка, большой рукой вырвал из альбома листок и убежал. Это в каком же виде они его изображают и наверняка показывают верзилинским барышням? Надо полагать, в самом отвратительном, коли опасаются ему показать.

“Маркиз де Шулергоф”! Вот, пожалуйста, еще одно прозвище. Подумаешь, перевернул картишку... Тогда не садись за карточный стол! А сел — гляди в оба, на то игра, на то карты, как говаривал его родной дядя Савва, записной игрок.

Вспомнив дядю — немало рассказал покойничек забавных штук о карточной игре! — некстати вспомнилась своя отставка, мелкий шепоток о его трусости — и снова каким-то безволием окатило его. Но он волевым усилием взбодрил себя: нет, господа, ошибаетесь. Орденами за трусость не награждают. Другое дело, нельзя дуrom отдавать свою жизнь какому-то дикарю-горцу, который при удачном выстреле визжит и плачет от радости.

Лермонтов, видите ли, храбрый. А кто не храбрый из русских офицеров? Все мы не из робкого десятка. Но не надо, поручик, кичиться своей храбростью, выставлять напоказ, доводя ее до безрассудства. Это разные понятия...

Но в глубине души, не смея признаться самому себе, ему уже не хотелось доводить дело до барьера. Попросил бы Лермонтов в присутствии всех друзей в том же верзилинском доме прощения, — попросил бы искренне, горячо, — он, скорее всего, взял бы вызов обратно. Позже опять бы ругал себя за мягкотелость, уступчивость, но — взял бы.

Конечно, иметь в жизни дуэльную историю — чего лучше. Известность в обществе, постоянный интерес, особенно у женщин. Дуэль пожизненно набрасывает на личность дуэлянта благородный ответ его понятий об офицерской чести, долге, храбрости.

Его же дуэль одним выстрелом покончит со всеми сплетнями. Выйдя на поединок, он крупно выиграет в местном обществе, в полках, где довелось служить, — вообще выиграет во мнении света. На равных встанет с этими князьками и советниками, с храбрецами-кавказцами, войдет по-своейски в дом Мерлини, где люто ненавидят Лермонтова.

И каким ярким подтверждением станет поединок его речам и заверениям, сказанным в последние дни на ушко, над женскими плечами! Да, милая Надин, я не мог его не вызвать, моя жизнь, судьба — ничто в сравнении с моей честью...

Но дуэль — государственное преступление. Это значит — к чертям карьеры, виды на будущее. И ведь верно: что за причина? Как все они будут рассуждать? Вступился бы за честь полка, друга, наконец, возлюбленной, а то вызвал приятеля за “кинжал”. Мальчишество какое-то... действительное, не поймут, на смех подымут. Да, пожалуй, взял бы обратно...

Однако отъезд Лермонтова обострил положение, вынуждал действовать, а лермонтовская фраза о том, что он, Мартынов, волен поступать как хочет, не оставляла никакого иного решения, как только продолжать дело. Если он возьмет вызов обратно без убедительных и повсеместных извинений Лермонтова, это будет гораздо хуже, нежели само участие в дуэли.

И чувствуя, что ему, в сущности, уже не хочется доводить дело до прицельных выстрелов, он понимал: не примет Лермонтов серьезных действий к примирению, — дуэль неизбежна.

Но неужто нет другого решения — словно кто-то спросил у него. Ведь можно и так: немедленно собрать вещи и к вечеру, пока Лермонтов не вернулся, навсегда покинуть Пятигорск, будь он проклят. Завтра в Ставрополе, а там — Харьков, Киев, Москва... Эта мысль настолько поразила его своей неожиданностью, что он даже остановился.

А почему бы и нет? Ему есть что сказать при отъезде. Он взял свой вызов назад, лишь уступая долгим и настоятельным просьбам друзей, их горячим увещаниям не проливать крови, простить злему, ревнивому поручику. Как Глебов сказал: пусть Бог его судит? И он, Мартынов, вам уступил.

Зажал свое сердце — и отступил, стал выше невзрачного и несчастного мишуреса. Но он знает его. Лермонтов, по своей мелочно-злой натуре, на этом не утихомирится, ведь уже не раз извинялся. А второй уступки не будет, будет только дуэль. Поэтому он уезжает. Если Лермонтов хочет и дальше испытывать свою судьбу и уподобляться им же выдуманному фаталисту Вуличу, — искать своего пьяного казака с шашкой, — пусть выберет для этой забавы другого человека.

Однако, подумав, он напрочь отверг эту мысль. Понять, оценить его благородный поступок могут только те, кто знает подоплеку дела, кто сейчас его уговаривает. А как расценят его добрую волю “водяные” общества в Минводах, в кавказских полках, куда вскоре выедут те, кто сейчас лечится, бездельничает в Пятигорске? Истолковать можно по-разному. В его случае непременно истолкуют дурно. А именно: он — трус. Ну как же: вечером вызвал, а на следующее утро отказался от дуэли, даже не переговорив с противником, не услышав слов извинения. Испугался встать под пулю. Да он попросту сбежал! Подобной трусости в российских дуэлях вроде бы не случалось. Злоязычники не только расплещут эту гнусность по Кавказу — разносут по всему миру. Дойдет до матери, сестер, родных и близких, неизбежно дойдет до Киева, Москвы, столицы... Будет доходить туда, где бы он ни жил. С клеймом труса, сбежавшего с дуэли, ему жить до конца дней, а это значит, что двери приличных домов будут для него навсегда закрыты... Ему даже с друзьями проститься не останется времени. Как прощаться с Надин? Ведь получается, что все, что он говорил и нашептывал ей, на поверку оказалось неправдой. Ради чего? Чтобы, проявляя великодушие к неблагодарному, злобному Маешке, навсегда остаться в памяти людей трусом и лжецом? Ну, уж нет! Только стреляться! Фу-у ты, как он вообще мог подумать о немедленном отъезде!

Укорив себя за минутную слабость и напрочь отогнав малодушные мысли, стал думать о секунданте. Выбирать нужно только из близкого круга приятелей. Кого? Не каждый согласится: секунданты подлежат наказанию равно с дуэлянтами, вплоть до каторжных работ.

Бенкендорфа? Неплохо бы получить от него согласие. Известная фамилия, правда, к дальнему родственнику, всесильному шефу жандармов, никаких родственных чувств не питает и связи не поддерживает. Да вряд ли согласится: свято чтит память Александра Пушкина, крепко дружен со Львом, младшим братом поэта, любит Лермонтова.

Раевского? Молод. Ни воинских заслуг, ни денег, ни связей. Ему-то по приговору за дуэль отвесят в полной мере. Жаль подводить начинающего офицера, ломать карьеру...

Трубецкого с Васильчиковым? Этих и просить бесполезно. Оба под пристальным вниманием самого императора. Один — под благосклонным, другой — под настроенным. Эти два князька рисковать не станут.

Дорохова? Вот кто подошел бы более всего. Дворянин. Четырнадцать дуэлей, за последнюю вновь разжалованный, терять нечего, дальше Кавказа не сошлют, как он порой шутит, опытный дуэлянт, да тоже страстный поклонник лермонтовского стихотворчества, вместе в шашки бросались на чеченских завалах, одним и тем же отрядом известных отлетов поочередно командовали. Ни за что не согласится.

Кто еще? Диков? Идти, униженно просить того, кому иной раз при встрече руки не подавал? Ах, Глебов, кого ты послушал, кому дал согласие! А больше из лермонтовской “банды” и просить-то некого. Шапочко знакомые тем более не согласятся. Кто он им, чтобы ввязываться в опасную историю...

3. УСЛОВИЯ

Трубецкой с удивлением выслушал незадачливых парламентаров. Провал визита отчасти воспринял, как результат своего отказа идти вместе с ними, поэтому испытывал некоторую неловкость. Наудивлявшись, не на шутку раз-

гневался и сам попросил их еще раз сходить уже вместе с ним к упрямому “горцу”, благо тот рядом живет; заверил, что перед такой делегацией тому сумасброду не устоять.

Мартынова дома не оказалось.

— Только шо ушли! Побрились, оделись чисто и ушли! — бойко ответил Ильюшка. — Может, и до вас зайдут, — утешил он вслед раздосадованных посетителей.

Не было Мартынова ни у Верзилиных, ни в двух соседних домах, где квартировали общие знакомые. Искать его по Пятигорску у обозленных ходатаев не было желания. На обратном пути снова зашли в верзилинский домик, где вместе с Глебовым и Мартыновым снимали комнаты Раевский и Зельмиц.

У Раевского сидели в гостях Бенкендорф с Дмитриевским. Хозяин, смущаясь убогой обстановки, попытался угостить именитых гостей чаем. Трубецкой остановил его и попросил Глебова рассказать о происшествии.

Все трое крайне удивились.

— Господи, да что это с ними? — растерянно спрашивал Раевский. — Старые друзья... как же это?

— Я думал, они уже у Найтаки в бильярд шары колотят, — искренне недоумевал Дмитриевский, еще один свидетель вчерашней ссоры.

— В том-то и беда, что друзья, — подчеркнул Глебов. — И Мартынов настроен решительно. Видели бы вы его — зол как черт! Нет, вы как хотите, а я настаиваю, чтобы нынче же уладить дело.

— Да как же это сделать? Вас он не послушал, — напомнил Бенкендорф. — Я к тому, Михаил, что коли он настроен решительно, то, может, для верности сообщить коменданту — добрый старик, поймет — или Безобразову? Кому-то из влиятельных?

— Ни в коем случае, — строго предупредил Васильчиков. — Ни одной душе, кроме нас, — обвел он глазами присутствующих, — тем более начальству. Иначе оконфузимся на весь свет. Голицынская камарилья обхохочется. Они, может, к вечеру сами примирятся, а мы в ябедниках окажемся. Держать в тайне, пока не уладится.

— Это уж как пить дать — обсмеют, — хмыкнул Трубецкой и громко объявил: — Мартынов вышел на дуэль! Трепещи, Пятигорск, замрите в страхе, люди! — Он устало закрыл глаза, потер веки. — А там пустое фанфаронство. Откровенно говоря, у меня уже нет никакого желания мирить их. Я буду его уговаривать, он будет передо мной надутым индюком вышагивать, а дело кончится пшиком. Полным конфузом, как ты изволил заметить, — напомнил он Васильчикову.

— Вот-вот, — подтвердил Васильчиков. — Они, уверен, уже сами не рады, ищут примирения, а мы все со всем пылом, жаром собираемся их уговаривать.

Здесь Глебов не выдержал.

— Виноват, господа, но, мне кажется, довольно этих отвлеченных рассуждений. Хотят — не хотят! — со злостью бросил он Трубецкому. — Лермонтов не только попросил меня быть секундантом, он посоветовал, где взять пистолеты, попросил выбрать место, время и час дуэли. Слышите? — час! — и обговорить с секундантом Мартынова условия, чтобы сообщить ему к завтрашнему утру. Это тоже фанфаронство? — гневно спросил он у Трубецкого. — По мне, князь, уж лучше конфуз, нежели стрельба друг в друга.

— Глебушка, милый, да неужто ты всерьез веришь, что до стрельбы дойдет? — удивленно спросил Васильчиков.

— Бог знает, до чего дойдет, если будем сидеть, сложа руки, — ответил Глебов и, уже смягчая сказанное, обратился к Трубецкому: — А если хотят примирения, но в запале не знают, как, то мы обязаны им помочь. Надо начинать с Лермонтова. Уговорить его извиниться. Вызывать его сюда или к нему в Железноводск ехать. И надо того, для него значимого.

— Да приглашайте хоть черта с рогами! — вспыхнул Трубецкой, восприимчивая в свой адрес глебовскую злость. — Ты, Михаил Павлович, подумай, в какое дурацкое положение мы сами себя ставим: один уехал, другой бро-

дит неизвестно где, начальству — ни гу-гу, а мы без спросу к ним же в мировые судьи рядимся. Ну, кого, черт бы их побрал?! — грубо спросил он у Бенкендорфа.

— Может, Манзея? — робко предложил Раевский, вспомнив, что не раз видел Лермонтова и Манзея в дружеской беседе.

Глебов высказался в необходимости пригласить и Руфина Дорохова — сына героя Отечественной войны Ивана Дорохова, превзошедшего отца в гусарстве и храбрости, известного в армии офицера, бретера, ныне разжалованного и сосланного на Кавказ за очередную дуэль.

— Давайте Манзея, давайте Дорохова, — не стихал Трубецкой, вытирая красное лицо кружевным платочком. — Где ваши люди? Пошлите за ними.

Раевский сорвался в коридор. Васильчиков придержал его, сказав, чтобы Манзея и Дорохова направляли к нему на квартиру. Заодно и Мартынова, если встретят.

— Душно у тебя, Николай, — сказал он Раевскому, — окна на солнце... Идемте, господа, ко мне, в леднике мороженое должно быть, если не пропало.

И все шестеро отправились к чилиевскому дому, в котором оба князя снимали по комнате.

Васильчиков сразу распорядился готовить обед человек на десять. Слуга принес в ведерке раскисшее мороженое и жбанчик ледяного квасу. Дмитриевский с Бенкендорфом попросили поставить самовар — в кавказскую жару лучше всего пить чай. На предложение Васильчикова скоротать время за картами отказались, — все в той или иной мере ожидали появления приглашенных и самого Мартынова.

Напившись чаю и квасу, вышли во двор, в тень северной стороны дома, сняли, развесили по деревьям сюртуки, стали раскуривать трубки. Трубецкой повел Дмитриевского на баз показывать, хвастаться недавно купленным в черкесском ауле конем. Бенкендорф в одной рубашке сидел под яблоней и, по-кошачьи шурясь сквозь листву на солнце, рассказывал что-то смешное лежавшему перед ним в траве Раевскому. Нервничал один Глебов — не садился, подолгу выходил смотреть на дорогу.

Наконец прибежал запыхавшийся посыльный. Дорохову он сообщил, что полковника нет дома, и не знают, когда будет и где сейчас, потому как ушел еще вчера.

— А в ваннах искал? — спросил Раевский.

— Какие ванны Манзею, — засмеялся Трубецкой, довольный впечатлением, которое конь произвел на молодого приятеля. — Небось, у Мерлини в карты режется.

— И там его нет, — легко отозвался Васильчиков. — Он недавно в пух и прах продулся, занимал у плац-майора. Скорее всего, наш бонвиван со вчерашнего вечера в найтаковских номерах местным девицам папилютки на прически наворачивает. Беги-ка ты, братец, в гостиницу, там спрашивай... Стой! Возьми коня, пока под седлом.

Князьки слуги вынесли и расстелили на траве ковер, возле которого обычно отдыхают гости, принесли самовар, жбанчик с недопитым квасом и большой таз со свежесваренными хворостиками, накрытый полотенцем. Сладкоежка Раевский, забавляя приятелей, на четвереньках быстро подполз к тазу, приподнял полотенце, плотоядно принялся и, зажмурив от предвкушаемого удовольствия глаза, задрал к небу голову, коротко взвыл. Шутке посмеялись, стали рассаживаться вокруг скатерти.

Упомянув в беседе участников дуэли, вышли на разговор о крепости Темир-Хан-Шуре, куда Лермонтов был обязан на днях выехать для прохождения дальнейшей службы. Заговорив о крепости, невольно заговорили о последних, крайне тревожных военных донесениях оттуда. Еще лет десять назад знаменитый на Кавказе имам Кази-Мулла объявил газават. То и дело в разных местах Дагестана и по всей Малой Чечне происходили ожесточенные стычки русских гарнизонов с мятежниками. Зашла речь о непокорности, виновности горцев. Каждый счел нужным высказать свое мнение хотя бы несколькими фразами. Глебов привел в пример Шамиля.

В 1832 году против Кази-Муллы выступил большой отряд под командованием старого кавказца, полковника Кюлогенау. Разорив на пути к центру мятежа до шестидесяти восставших аулов, отряд с большими потерями вышел и окружил аул Гимры, в котором засели Кази-Мулла с Шамилем — своим учеником и соратником. Вместе с ними засели самые храбрые воины, а сам аул по расположению походил на неприступную крепость.

Штурмовали Гимры с трех сторон. Горцы защищались с неслыханным упорством. Кази-Муллу ранили. Вместе с Шамилем и самыми верными мюридами он заперся в каменной башне. Чтобы понапрасну не губить солдат, — все одно не уйдут, — взяли башню двойным кольцом в осаду. Выставили усиленный караул напротив запертой изнутри двери. Сутки просидели в башне горцы, а потом решили идти на прорыв.

Первым кинулся Кази-Мулла с десятком мюридов. Всех их сразу положили ружейными пулями. Следом выскочил Шамиль с остатками воинов. Пока солдаты перезаряжали ружья, он молниеносными ударами шашки обезглавил двух солдат и бросился бежать. Солдаты на какое-то время опешили. Шамиль кинулся к обрыву. Ему наперерез выбежали еще три солдата. Шамиль успел зарубить одного, зато другой вогнал ему штык в грудь с такой силой, что из спины выскочил кончик штыка, Шамиль правой рукой ухватился за дуло ружья и вытащил штык, в левой — он был левша — стал рубить налево и направо. Еще трех солдат уложил, остальные, пораженные его бешеной яростью, отпрянули. Шамиль снова кинулся к обрыву, и тут его настигли пули. Одна попала в плечо, другая — в затылок, третья — в бок. Он упал замертво в нескольких шагах от пропасти. Солдаты подбежали — лежит бездыханным.

— Как — бездыханным? — изумился простоватый Раевский. — Их что, два — Шамиля?

Глебов тихо усмехнулся. Бенкендорф, который тоже впервые слышал эту историю, положил руку на плечо Раевского, удерживая от дальнейших распросов.

— А вот солдаты поверили, — продолжал конногвардеец, обращаясь теперь больше к ним двоим. — Убит наконец-то Шамиль! Побежали добывать остальных, засевших по таким же башням и саклям. Кто-то из женщин подобрал убитого. А он жив оказался! Отправили его ночью в ближний аул Унцукуль, где проживал его тесть Абдул-Азиз — самый искусный дагестанский лекарь. Выходил храброго зятя. Теперь Шамиль — не вам рассказывать. Говорят, еще одну молоденькую аварку в жены взял. Какова живучесть!

— Да, в воинственности им не откажешь, — задумчиво признал Трубецкой. — Ни в живучести, ни в воинственности.

С этим утверждением согласились остальные, стали напоминать случаи, один другого выразительнее, в которых боевые качества противника проявлялись наиболее ярко. И чтобы еще больше подчеркнуть его грозную силу, согласились и с тем, что, несмотря на дикость некоторых обычаев, в горах довольно высокое понятие о чести. В разговорах на эту тему часто приводили пример Шах-Мана, знатного и богатого дагестанца.

Используя свою власть и влияние, он решил провести в Дагестане некоторые реформы: для начала объединить враждующие мелкие аварские ханства и хоть как-то облагородить нравы и обычаи.

Кое-что по объединению ему удалось сделать, но когда он потребовал прекратить грабежи и воровские набеги, земляки возмутились, изгнали его вон из Аварии. Во главе заговорщиков стояли его сыновья.

Оскорбленный Шах-Ман вернулся на родину во главе огромного отряда персов, чтобы с помощью наемников отомстить неблагоприятным сородичам.

Дагестанцы разбили персов. Однако Шах-Ман не бежал вместе с ними, а явился на суд своих старейшин и заявил, что теперь он хоть и потерпел поражение, но перебил многих своих обидчиков, поэтому его месть удовлетворена. А поскольку он воевал против своего народа, то просит убить его. При этом потребовал, чтобы вместе с ним были казнены и его сыновья, которые предали своего отца. По приговору шариатского суда просьбу и требование честолюбивого аварца исполнили немедленно.

Но, отдавая дань уважения воинской отваге горцев, собравшиеся тем самым только подчеркивали, с каким сильным врагом им приходится воевать. Храбрость и мужество русских солдат были гораздо выше, нежели у противника.

Это убеждение было настолько основательно-прочным, давним, настолько широко распространялось по всему Кавказу и за его пределами, что если бы кто высказал иное суждение, или, того хуже, — сомнение, то к нему отнесли бы как не вполне здравому уму человеку.

История кавказских войн изобиловала примерами потрясающего величия и силы духа русского воина. Каждый из полков, разбросанных по всему Кавказу, будь то Тверской, Тенгинский, Нижегородский, Эриванский, Куринский, Апшеронский, Северский, Ширванский, Кабардинский, Аргунский, Навагинский, Переяславский, Черноморский — любой из них или любой другой — имел в своей полковой истории ряд блестящих побед, воинских подвигов, чем и был известен во всей русской армии. Сама военная обстановка словно вызвала полки на соискание воинской славы.

Против сравнительно небольшого экспедиционного корпуса правительственных войск фактически воевало все полумиллионное население Кавказа. На всем театре военных действий небольшим и разрозненным батальонам противостояли стремительные в передвижении и хорошо вооруженные отряды горцев. Общая численность противника превосходила в десятки раз.

Особая сложность кавказских войн заключалась не в том, что приходилось вести бои в непривычной обстановке — в горах, ущельях, лесах, штурмовать аулы, расположенные на скалах. Главную опасность представляли измена и вероломство горцев. Мирный сегодня, завтра аул мог стать центром восстания. Разбитый и рассеянный противник через пару часов массированно и неожиданно нападал с тыла. Заклучив мир с покоренной местностью либо с целой областью и собираясь двигаться дальше, воинское соединение на следующее утро оказывалось в месте, охваченном мятежом, то есть было полностью отрезано от основных сил и окружено безжалостным противником.

Вместе с тем кичиться храбростью считалось дурным тоном. Но вот с гордостью отозваться о героизме русского воина, неважно, какого он чина-звания и какого полка, крикнуть ему в восхищении трехкратное “ура”, поднять бокал в его честь — считалось неперенным условием каждого застолья.

Молодые офицеры, прибывавшие из России в полки, быстро перенимали у “старых кавказцев” суждения о противнике, манеру поведения, даже выражения и словечки...

Тут все оборотились на угол дома, откуда верхом выехал прямо в сад полковник Манзей. Спешился, захлестнул повод за ствол деревца. Коня, как выяснилось, он забрал у посыльного.

— Пешком дотопают... Кому и зачем я так срочно понадобился? — спросил он и тоже снял сапорок, растегнул на груди рубашку. Увидел на ковре самовар, разочарованно хмыкнул:

— Мда-а... Но можно и чаю... А там что? — указал на жбанчик и на ответ саркастически ослабил: — Вот этого я еще сегодня не пил... Ну, давайте хоть квасу. Налей-ка мне, Сереженька, кружечку, — попросил он Трубецкого, присаживаясь к коврику, возле которого ему тотчас уступили место. Разом выпил, с удивлением понюхал пустую кружку и попросил налить еще, а на понимающие улыбки офицеров стал оправдываться:

— Это все кавказская кухня, черт ее дери! Перцу, приправ — спасу нет, сверх всякой меры. Уж на что я, и то... Верите, — проникновенно говорил он, стоя на коленях перед самоваром, словно язычник перед идолом, — еще вчера поужинал ихними люлями да кебабами — или как их там? — а внутри до сих пор горит!

— Как вы сказали? — сделал вид, что не расслышал Трубецкой. — С кем? С лялями? Или с бабами? Один? Почему нас не пригласили?

Раевский фыркнул, остальные заулыбались.

— Экая ты, Сережа, язва, — грустно укорил Трубецкого полковник. — И ведь молодой. Это каким же ты в старости будешь?

Но по кровавым глазам, по обильному поту, заливавшему лицо и шею лихого полковника, было понятно, что кавказская кухня здесь ни при чем, от иного горело у него внутри.

Трубецкой понимающе ухмыльнулся:

— Да полно вам, Александр Логинович, хлестать эту воду, не поможет. Скоро обед будет готов. Щей горячих со сметаной да стаканчик русской водочки — и вся горечь пройдет.

Гости с любопытством посматривали на Манзея: о нем слышали, знали в кавказских полках — отчаянного рубаку, картежного игрока и неутомимого ценителя женщин. Молодые офицеры его боготворили. Многое повидал на своем веку Манзей, умел откровенно и занятно рассказать об увиденном, но сейчас собравшимся было бы куда занятнее услышать то, что полковник хотел бы скрыть до времени, — с кем это он столь бурно прокутил еще одну разгульную пятигорскую ночь.

Дождаться обеда полковник не стал, вновь спросил, зачем его пригласили. Пришлось Глебову в третий раз за утро рассказывать о том, что произошло вчера ночью подле верзилинского двора, близ тускло блестящей кремнистой дороги.

Манзей не сразу вник в суть дела, недоверчиво переводил взгляд с одного на другого — уж не разыгрывают ли его со скуки эти желторотики? Никак не укладывалось в большой голове полковника, что из-за какой-то остроты можно вызвать друга на смертельный поединок.

— Врут они оба. Там у них за портьерой женщина прячется, — убежденно сказал он и допил третью кружку квасу. — Знаю, — погрозил он Бенкендорфу пальцем, — все вы с ума сходите по верзилинским “грациям”. Нашли по ком. Был бы толк, а то одно жеманство. Разве что Эмилия... Впрочем, вам лучше знать, кто по ком, кто с кем, кто в чем... — Потом, поразмыслив и, видимо, окончательно поверив, скосил красно-зеленые глаза на Глебова:

— А что? С Мартынова станется. Еще тот... упрямец!

Глебов обрадовался.

— Слава богу, хоть один согласился! Я же говорю — зол как черт. Собрал Лермонтову все грехи. Вот князь сам слышал, — обратился конногвардеец за поддержкой к Васильчикову.

— Ваш Лермонтов тоже хорош, — остановил Глебова полковник. — Знаете, как его называют в Пятигорске? Правильно называют.

Но в то, что дело может дойти до прицельных выстрелов, он так и не поверил. Посоветовал никого больше, кроме Дорохова, в историю не посвящать, особенно Левушку Пушкина, иначе завтра же всех офицеров в полки вышлют.

— Меня первого, поэтому держите, друзья, языки за зубами. Не дай Бог, в Ставрополе прослышат о ваших забавах — никому не поздоровится. Время у вас есть. Как только Мартынов объявится, скажите ему и дайте мне знать. Я поговорю. Но только с ним. С Лермонтовым не стану. А вы — шерше ля фам. С нее начните. Не из “граций” ли? — он пронизательно сощурился на Васильчикова. — Не сама ли Эмилия? Впрочем, неважно кто... Берите ее за... за что-нибудь весомое и ведите к Мартынову. Кто знает, может, она в пять минут уладит. А ты прав, Миша, — серьезно обратился он к Глебову. — Я Мартынова знаю — позер и упрямец. Время есть, но мешкать нельзя, сегодня же прикройте этот азиатский базар... Спасибо, что выдержу-ли. Эти слободские фифочки... на вине и фруктах... неугомонные... Ну, прямо сирены одиссеевские! — удивленно возмущился он, тяжело поднимаясь на ноги. — Пойду-ка я, братцы, отлеживаться.

На уговоры посидеть еще с грустью ответил:

— Были бы свободные деньги, посидел бы, взгрел бы кого-нибудь из вас за картишками, а так — чего рассиживаться?

Через четверть часа взволнованный повар пригласил к столу. Гости поднялись и пошли в очередь мыть руки.

Чтобы не дымить в комнатах, курить после обеда снова вышли в сад на облюбованное место. Чувствовалась уже некоторая усталость и от общих раз-

говоров, и от долгого ожидания, хотелось уединения, тишины, покоя. Вместе с тем каждый в какой-то мере ощущал себя, — хоть и по-разному, — сопричастником дела и считал себя уже обязанным участвовать в нем до полного завершения. Устраниться, взвалив все неприятные хлопоты по примирению на одного Глебова, было бы не по-товарищески, довольно с него ненужного и опасного секунданта.

Офицеры залегли в пересмятую траву разогретого сада, в легкие пестрые тени деревьев, лениво переговариваясь, раскурили трубки.

Наступало время полдневного жара, всей его силы. Пряно пахли кусты азалии, жимолости, росших вдоль каменной ограды. Тонкий цветочный запах напаленного солнцем фруктового сада мешался с запахами хозяйского двора, сарайчика, с животным духом, слабо доходившим в сад от денников, в котором содержались кони постояльцев.

Меж деревьев блеклыми звездочками трепетно перелетали бабочки, иногда садились на руки, на плечи, на выгоревшие офицерские сюртуки. Серыми искрами прядали из травы мелкие кузнечики. Тихий, монотонно-стеклянный звон цикад сливался с однообразным нытьем изумрудно-черных мух, навевал сонно-колдовские чары.

Затянутые дымным сиянием, мягко туманились раскаленные горы, гигантским амфитеатром уходившие в бледно-синее поднебесье.

Светом, зноем, словно тончайшим дымом цвета александрита, была до краев налита огромная чаша, в которой сладостно томился, изнемогал Пятигорск со всем своим обширным предместьем.

В вялом разговоре о том, где кому служить, куда и когда выезжать, вновь невольно вспомнили последние военные события. Но теперь заговорили не о храбрости и воинственности своих и чужих, — на этот раз и в суждениях, и в оценках, и даже в интонациях голосов откровенно звучало осуждение кавказской войны, ее неоправданной жестокости и бессмысленности.

Молодой Дмитриевский, которого недавно приняли в близкое окружение поэта, в сложном “дуэльном” разговоре деликатно помалкивал, опасаясь по незнанию поставить в неловкость кого-либо из друзей Лермонтова. Но сейчас, когда речь зашла о войне, молодой советник счел возможным весомо сказать и свое слово.

По его мнению, Россия никогда бы не вела эту кровопролитную войну, если бы могла беспрепятственно укреплять свои границы по Черноморью и Каспию. Не нужны ей ни эти горы, ни скудные земельные клочки между ними, ни сами горские племена, среди которых за века не родилось ни одной философской или научной мысли, только и того, что громко известны варварскими обычаями. Что делать русскому человеку здесь, в мусульманском мире, среди враждебных его духу и вере народов? Какой русский крестьянин по своей воле оставит свою милую тихую родину и переселится жить в эти дикие, от веку окровавленные дагестанско-чеченские горы? Разве что беглый каторжник либо вор-ушкуйник, которым заказано жить на родине. Да ведь и они в сибирских лесах среди своих мужиков найдут укромное место. Иное дело — Ставрополье, Закубанье, где еще дружины Святослава свои курганы насыпали, где в степных просторах душа и глаз отдыхают, — туда еще можно, но и там селятся лишь казаки, которым где бы ни жить, лишь бы своя воля была.

А то, что идут и идут на Кавказ, строят укрепления, вырубают леса, мостят дороги, берут приступом немирные аулы, которое десятилетие льют свою и чужую кровушку, — так то уже по грозному царскому приказу.

Ни единого выстрела из русского оружия не раздалось бы среди этих гор и ущелий, если бы русские войска свободно вышли на берега Черноморья, Каспия и в Закавказье.

Он, Дмитриевский, сгущает краски, но если и пожизне развести, — то же самое сказать можно. Да, война с горцами страшна, жестока, но, надо признать, — вынуждена, следовательно, не бессмысленна. В силу необоримых обстоятельств Кавказ обречен быть покоренным русскими, какой бы крови это им ни стоило.

Прежде всего, России требуется основательно укрепить свои южные границы по Черноморью, Каспию и в Крыму, иначе она их навсегда потеряет. Другая, не менее важная цель — защитить две христианские страны — Грузию и Армению.

Грузия — страна античной культуры, раннего христианства, святого места хранения хитона Господня, земля святой Нины, царицы Тамары, Давида-строителя и Шота Руставели. Но сколько горя перенесла она за свою многовековую историю!

Тридцать девять раз Грузия подвергалась гибельным нашествиям и опустошительным разорениям. Византийцы, хазары, монголы, сарацины, лезгинны, турки, персы — кто только не оставял в ней по себе страшную лямку. Особенно персы: пятнадцать раз пронесли они испепеляющим смерчем по грузинским землям. Персидский шах Джемал-Эдин только за один поход полностью разорил Тифлис и вырезал сто тысяч жителей, а шах Аббас в Гереджийской пустыни в ночь на Пасху зарезал шесть тысяч монахов и более ста пятидесяти тысяч жителей увел в рабство.

Триста лет Грузия умоляла Россию взять ее под свою защиту. Грузинский царь Александр Первый в прошении к Иоанну Третьему называл себя “меньшим холопом московского царя”, Александр Второй бил “челом со всем народом своим, чтобы единственный православный государь принял их в свое подданство, спас жизнь и душу”, а Теймураз Первый целовал в Москве крест, то есть Богом присягал на верность России.

Немало страшных трагедий пережила за века и Армения, чья история вообще восходит к библейским временам, к земным дням Авраама, Исаака, Ноя, причалившего свой ковчег к Арарату. Но и с тех же времен с ветхозаветной жестокостью персы и турки всякий раз поступают с армянским народом: половину — под нож, оставшихся — в рабство. Остается удивляться, как только эти страны вновь возрождаются.

России не нужны.

А вот Персии, Турции и Англии, которая десятилетиями ведет необъявленную войну с Россией, нужно все — весь Северный Кавказ от Черного до Каспийского морей, Крым, Закавказье. И самый лучший способ тайно воевать с Россией — это возмущать горские народы против русских войск. Снабжать их оружием, деньгами, советниками, как это, не скрывая, делает Англия, и разжигать ненависть к “русским собакам” исламскими идеями пантюркизма, призывать к газавату, поощрять существующую во многих новороссийских портах работорговлю, что по сей день, не стесняясь, делают персы, арабы, турки...

Гости, довольные тем, что избавлены от необходимости самим о чем-нибудь говорить, подбрасывали Дмитриевскому вопросы, лишь Васильчиков, который по долгу дипломатической службы неплохо изучил историю Грузии, дополнил молодого советника, — рассказал о печальной участи Теймураза.

Умер грузинский царь в персидском плену, в тюрьме Астрабада. Его мать Кетеван зверски замучили. Двух сыновей оскотили, один сразу умер от кровотечения, другой выжил, но сошел с ума. Третьего сына персы зарубили в бою. Плененную дочь царя, выданную по приказу шаха за перса, также умертвили. Одиннадцатилетнюю сестру царя, Елену, шах взял к себе в гарем, вторую дочь убили вместе с мужем. Так отомстили персы Теймуразу за то, что благодаря его усилиям Грузия наконец-то обрела военное и экономическое покровительство России.

— Какая дикость! — не выдержал Бенкендорф. — При чем здесь семья, дети? Людоедство какое-то... Вот оно, — со значением напомнил он князю, — магометанство во всей красе!

— Да как сказать, — усмехнулся в ответ Васильчиков. — По-моему, дело не в религии. Все они здесь головорезы, словно вместо Бога по всему Кавказу какое-то идолице правит. Что-то вроде лермонтовского Демона. Только не печальное, а необычайно кроважидное... А ты знаешь, что эти мирненькие, веселые грузины однажды сделали? Этот же Теймураз в отместку Шах-Аббасу за разгром Кахетии с помощью черкесов наголову разбил пятнадцатитысячную шахскую армию — по-нашему, корпус! — и отправил

в Стамбул, своему временному союзнику и злейшему врагу шаха, турецкому султану Ахмеду в доказательство своей дружбы две с половиной тысячи отрубленных голов. Прими “бакшиш”, магометанин, от христоробивых грузин! Это сколько же надо было рубить, на чем везти летом, в жару, там же вони было...

Бенкендорф брезгливо сплюнул, а Раевский, подумав, глубокомысленно изрек:

— Тогда это не идол. Это его провидение покарало.

— Провидение? — презрительно переспросил Васильчиков. — Двенадцать лет назад персы на куски разорвали русского посла Грибоедова — тоже провидение? А знаешь, что и наши солдатушки бравы ребятушки этим же балуются — режут головы в доказательство, перенимают дикие замашки? — и скучно добавил: — Впрочем, где их не режут, — махнул рукой и поднялся сказать слугам, чтобы свели напоить коней на Подкумок.

Когда ожидание стало тяготить, первым под благовидным предлогом откланялся Бенкендорф, за ним стали подниматься остальные. Действительно, сколько можно ждать, да и дождутся ли. В это время пришел мартыновский Ермошка и сообщил, что его барина еще нет, а в комнате Раевского сидит Дорохов и дожидается хозяина.

Офицеры переглянулись. Знали, что разжалованный Дорохов не любит бывать в больших офицерских собраниях, хотя знаки внимания ему оказывают на равных, если не больше. Сейчас было крайне интересно, как на случившееся посмотрит известный храбрец и дуэлянт. Мнение Дорохова в этом случае имело решающее значение. Надо было идти к нему.

Офицеры повеселели.

Появление приятелей таким числом удивило Дорохова.

— Вы как на именины, — улыбался он, поочередно пожимая руки. — По какому случаю?

Избавляя Глебова рассказывать по четвертому разу, Трубецкой несколькими фразами изложил суть дела. Многие предугадывали, как отнесется к этому известию Дорохов, и не ошиблись.

— Что-о? Мартынов? Лермонтова? Стреляться? — недоуменно спрашивал он, вынув трубочку изо рта, потом брезгливо поморщился:

— Какой вздор!

Однако по мере того, как ему рассказывали подробности ссоры и того, что за нею последовало, он насторожился. Изредка поглядывал на Глебова, чтобы убедиться в точности.

— Давненько я не слыхивал о дуэлях, да еще на Кавказе, — насмешливо сказал он, улыбаясь каким-то своим мыслям. — Когда, говоришь? — уточнял он у конногвардейца подробности. — Так, так... А что Лермонтов? Угу, угу... — задумчиво пыхтел он своей носогрежкой и вновь умолкал, размышляя.

Своего мнения он не высказать успел — в общем коридоре послышался громкий голос Мартынова. Шумок голосов мгновенно стих, в комнате Раевского наступила тишина. Все как замороженные смотрели на полукруглую дверь.

Как ни ждали Мартынова, о котором столько говорили сегодня и думали, все же его появление явилось неожиданностью. В ином значении теперь предстал пред ними этот человек, иными глазами теперь смотрели на него.

Он поздоровался общим поклоном и сразу строго предупредил:

— Догадываюсь, господа, по какому поводу собрались. Но я дожидаться не могу. Можно, наконец, понять, что я не шучу и не отступлю от дуэли!

Свободного места сесть не было, Бенкендорф с Дмитриевским поднялись с кровати, уступая место, но он остался у двери, лишь переменял позу и вольно положил руку на кинжал.

Первым напряженную тишину нарушил Дорохов.

— А кто же у вас будет секундантом?

Мартынов повел глазами по лицам приятелей. Кто-то уводил взгляд сторону, кто-то опускал глаза... Встретил он лишь взгляд Васильчикова. Что Мартынов мог прочесть в нем? Но что-то прочел, что-то понял.

— Я просил бы князя Васильчикова.

В комнате удивленно приподняли головы, и тут, словно гром с ясного неба, послышалось спокойно сказанное:

— Я согласен.

О Мартынове на какое-то время забыли, все с удивлением уставились на Васильчикова. Дуэлянт театрально-сдержанно поклонился:

— Благодарю вас, князь!

И тем же тоном обратился к Глебову:

— Поскольку вас, Михаил Павлович, пригласил Лермонтов, то, стало быть, вы теперь можете обговорить условия, — и бросил благодарный взгляд Васильчикову.

— Тогда нужны такие условия, — многозначительно предупредил дуэлянта Дорохов, попыхивая душистым дымком своей носогрейки, — против которых не допускались бы никакие возражения противников.

— Я согласен на любые, — пренебрежительно бросил в его сторону Мартынов, не удостоив даже взглядом. Синим огнем полыхнуло в дороховских глазах, но он тотчас скрыл их за клубочком дыма.

Здесь вмешался Трубецкой.

— Условия секунданты обговорят, условия — проще всего. Но давай, Николай Соломонович, поговорим откровенно, здесь лишних нет. Дело-то не стоит дуэли, согласись. Ты лучше нас знаешь Лермонтова, его характер, его язык. Да ведь и ты в долгу не оставался, — и тут же предупреждающе приподнял к Мартынову руки, заранее соглашаясь:

— Знаем, дорогой, знаем: шутка шутке — рознь. Мы, как никто, понимаем твою праведную обиду, негодование. И все же мы, — Трубецкой широко повел рукой по комнате, — твои друзья, искренне сочувствуя, вызываем к твоему уму и сердцу: откажись. Стань выше его. Не бери греха на душу. Пусть Бог его судит.

Ничто не дрогнуло в бледном, напряженно застывшем лице Мартынова. Он медленно прошел на середину комнаты.

— Я не ошибся — вы собрались уговаривать меня взять вызов обратно. Да вот незадача: положение таково, что, оказывается, меня вызвали. Вот свидетели, — поочередно указал он на Глебова и Васильчикова. — Я лишь вынужденно пригрозил дуэлью, он же мне посоветовал меньше говорить, но действовать, так как он от дуэлей никогда не отказывался. А сегодня Глебов, — во второй раз указал Мартынов на конногвардейца, — получил совет от Лермонтова, где взять пистолеты и обговорить условия. Так кто кого вызывает?

Глебов тихо напомнил:

— Он сказал только, что готов исполнить твою волю. Если ты потребуешь извинения...

— А я не принимаю! — перебил его Мартынов. — Ни где угодно, ни в присутствии кого угодно. Он решил позабавиться мною? Выставить меня перед всем Пятигорском в самом смешном виде. Он ошибся. Я ему не Грушницкий. Поэтому ваши уговоры бесполезны. Только дуэль. Спасибо, Александр Илларионович, — поблагодарил он еще раз Васильчикова. — Простите, господа, я зашел только на минуту. Вечером буду дома. Думаю, к тому времени условия будут выработаны. Всего доброго!

Он вышел, в комнате снова наступила тишина.

— Завтра, так завтра, — опустелым голосом согласился вслед ему Глебов.

Все ждали объяснений Васильчикова. Не дожидаясь вопросов, он заговорил:

— Нас, по-моему, приглашают стать участниками занимательного спектакля. А каждый спектакль хорош именно финальной сценой, в которой-то и заключена вся соль пьесы. Надо помочь нашим актерам, уж коли они нас так настойчиво просят, а, Михаил Павлович? — с улыбкой окликнул он понурого Глебова. Конногвардеец печально посмотрел на князя, ничего не ответил.

— Но каков Мартынов! — тихо восхитился Раевский. — Как он... — поручик горделиво вскинул голову и, полуприкрыв глаза, надменно повел плечом.

— Хороший актер, — напомнил Васильчиков.

— А ты понимаешь, почему он такой храбрый? — спросил у поручика Дорохов. — Потому что ничем не рискует. Мы можем предполагать, как поступит у барьера Лермонтов. Он может дать сознательный промах или вообще откажется от выстрела. Мы не знаем. Но знаем точно одно: в любом случае он в Мартынова стрелять не будет. У Лермонтова злой язык, но благородное сердце. Марать душу выстрелом в приятеля он не станет. Мартынов это отлично понимает, поэтому так решительно настаивает на дуэли.

— Но если Лермонтов не станет в него стрелять, значит, и Мартынов не станет, — попытался рассудить неискушенный в дуэльных делах поручик. — Зачем тогда вообще она нужна?

— Ничего это пока не значит, — терпеливо разъяснял Дорохов. — Дуэль, как я понял, нужна одному Мартынову. Будучи уверенным в своей безопасности, он может покуражиться перед нами, порисоваться перед Пятигорском, может повыпендриваться у барьера над Лермонтовым.

— Каким образом? — недоуменно спросил молчавший до этого Дмитриевский.

— Каким? — неопределенно пожал Дорохов плечами. — Заставить, например, Лермонтова целиться, вызвать на второй выстрел, вынудить стрелять, зная при этом, что пуля пройдет мимо, там есть штучки, а Мартынов... тоже штучка!

— Ну, Лермонтов не из тех, над кем можно покуражиться, — холодно напомнил Трубецкой, — тем более Мартынову.

— А это уже от условий зависит, — возразил Дорохов. — Лермонтов может выстрелить на воздух только после выстрела Мартынова.

— Почему? — спросил Раевский и тут же спохватился: — Ах да, отступление от дуэльных правил?

— Нет, и это пока не отступление, Лермонтов не может открыто показывать свое нежелание стрелять в противника, тем самым вынуждая того проявить жалость.

— Ибо тогда выйдет, что Лермонтов проявляет трусость?

— Вот именно. Поэтому у Михаила один выход — дать сознательный промах, что он, скорее всего, и сделает.

— А Мартынов? — спросил Дмитриевский.

— А вот как поступит Мартынов, — продолжал спокойно разъяснять Дорохов, — мы даже предположить не можем. От него чего угодно ожидать можно. Но это все мои догадки. В поединке многое зависит от секундантов, от условий, которые они установят.

— Тогда надо выработать такие условия, чтобы им впредь неповадно было водевили устраивать, — сердито сказал Трубецкой.

— Я к этому и клоню, — улыбнулся Васильчиков.

— Только на пистолетах, — продолжал Трубецкой, — на десяти шагах от барьера и на пятнадцати в обе стороны!

— И до трех раз, — подхватил Васильчиков.

Глебов не выдержал:

— Опомнитесь, господа! Такие условия не соответствуют тяжести оскорбления.

— Зато вдругорядь подумает, прежде чем друзей дурачить! — резко ответил Трубецкой.

— Из кухенрейторов второго номера, на десяти шагах — да ведь это верная смерть! — вскрикнул Глебов и вскочил с места. — Смерть либо тяжкое ранение... Нас же обвинят!

— А по-другому его не остановить, — живо ответил Васильчиков.

Трубецкой вдруг засмеялся.

— А что? Занятно будет посмотреть на него, — кивнул он на дверь, — когда узнает условия.

— Занятнее, думается, поглядеть на него уже у барьера, — загадочно сощурился Глаз, тихо дополнил Бенкендорф.

— А вот чтобы поглядеть, его теперь не надо отговаривать, — сказал Трубецкой. — Мол, подумали над твоими словами, Николай Соломонович,

и пришли к выводу: ты — прав, подобные оскорбления прощать нельзя. Стреляйся! А условия дуэли скрывать как можно дольше. Чтобы отступить было поздно. Пусть подрожит коленками у барьера!

Дорохов высказал сомнение:

— Прочитать его не мешает. Ишь, какой немирной! Но и недооценивать нельзя. В горячке от него всего ожидать можно. На десяти шагах? Ох, не знаю, не знаю, — и задумчиво покачал головой. — А сказать откровенно, — говорил он, уминая большим пальцем табак в трубке, — то по мне лучше примирение, нежели дуэль. Ничего там занятного не будет.

— Там вообще ничего не будет, — скучно сказал Васильчиков. — Догадки, предположения, условия... Не будет никакой дуэли. Примирятся они. Ну, какой из Мартынова дуэлянт? Два раза в жизни стрелял из пистолета, и оба раза у него пистолеты рвало в руке. Ему на роду написано не брать оружие в руки. Только на сцену, Каратыгину в партнеры!

— Подождите, — остановил их Дмитриевский. — Но в таком случае, если Мартынову ничего не грозит, то при таких жестоких условиях мы подставляем Лермонтова. Он-то стрелять не будет!

— А ведь верно! — удивился Раевский.

— Нет, нет, — возразил Бенкендорф, обрадованный тем, что дело, только что казавшееся угрожающе опасным, приобретает фарсовый характер и наверняка закончится общей попойкой, — пусть, как говорится, выяснят отношения до конца.

— Да ведь до начальства дойдет, чем бы ни кончилось, — хмуро напомнил Дорохов. — Нам-то ничего, а у него неприятности будут, — указал он на умолкнувшего Глебова. — Мало вам моего примера?

То, что Дорохов в этой связи сказал только о Глебове, присутствующим стало понятно, что Васильчикову, сыну первого российского сенатора, ничего не грозит.

— Если молчать будем, так никто не узнает, — весело возразил Трубецкой. — Вы утверждаете, что дело кончится пустым? Ну, а по пустому делу никто пустых рапортов писать не станет. Пусть наш Манзей-Одиссей до сентября своих сирен спокойно слушает. Ну, а нам что остается? — серьезно перешел он к делу. — Уж коли нам дело поручено, откладывать нечего. Помнится, в деле с Барантом у Лермонтова секундантом был Стольпин? Думаю, будет у него и на сей раз. Следовательно, у Лермонтова будет два секунданта. Так, Михаил Павлович? — окликнул он конногвардейца. — В таком случае, я составлю компанию Александру Илларионовичу, — тут Трубецкой галантно склонил голову в сторону приятно удивленного Васильчикову. — Чтобы уравнивать наших дуэлянтов и в точности соблюсти правила, — такой же кивок Трубецкой отвесил и Дорохову.

4. КАЗАКИ

Под камышовым навесом скотиньего загончика, кто сидя, кто полулежа у старой телеги, в ленивом безделье, убивают время пятеро казаков третьей сотни первого Малороссийского полка. Вторую неделю они живут на постое у отставного унтер-офицера Челищева, чей дом со двором и молодым реденьким садом расположен в верхней слободке такого же молодого южного городка.

В казачьих станицах летом не принято жить в домах, в комнатах, прохладных горницах, которые содержат в церковной чистоте и убранстве; бытуют южане обычно в клунях, летних кухнях, в иных пристройках.

В клуне, которую хозяин отвел под жилье, казаки хранят седла, оружие, амуницию да ночуют, во всё остальное, свободное от дозоров время они днюют во дворе, на свежем воздухе.

В июльском полудне жарко, безветрено. Маслянистая листва шелковицы, чья узористая тень коротко вылегла по крыше загончика, неподвижна. Ночные грозные облака, пробрызнув с утра легким дождем, вскоре растаяли, но еще долго все вокруг искрилось влагой, пахло свежей сырьстью.

Нежно зеленели на лиловой синеве лесистые горы с темными, особенно густо заросшими лесом распадками, меж тем как их подошвы да и сам городок туманились в синей дымке, в которой остро серебрились извилистые рукава мелкой речушки, с высоты напоминающие дождевые ручьи на дороге.

Сам Челищев с женой и дочерью в отъезде, приглядывать за домом и хозяйством, а пуще всего за постояльцами-смолокурами оставил сына-подростка. Сегодня он убирается в саду — сгребает в кучки садовый мусор, сжигает в крошечных костерках — и душистый дым голубым туманцем стелется между в деревьях.

Приглядывает за казаками не только хозяйский сын. Хозяйский петух, золотисто-багряный, с изумрудным отливом по грудине, с малиновым гребнем набок, словно в разбойничьем шлыке, в щегольских бежевых шароварах, ревниво и зорко стерегущий свой небольшой гарем, подозрительно косится на чужих людей в своем дворе. Наконец решается — долго и осторожно подступает к загончику, к телеге, у переднего колеса которой дремлет разомлевший от еды молодой казак. Остальные с любопытством наблюдают, что же будет дальше, а петух, потоптавшись немного, словно собираясь с духом, вдруг широко распахнул крылья, их разноцветное одеяние, вытянул шею и весь, встрепенувшись, победно заорал во все горло над головой казачка. Тот испуганно вскинулся:

— Ах ты, собака! кричишь на вечер! — и завертел головой, ища, чем бы запустить в горлопана. Казаки засмеялись, а петух, сгорбившись, зигзагами побежал к курам.

Казакам нынче вечером выезжать далеко в степь, в плавни — менять на три дня сторожевой пост. У них все готово: переметные сумы увязаны, оружие аккуратно обмотано промасленными ветошками и зачехлено, коней им приведут с выхаса ближе к вечеру.

Они недавно пообедали и теперь лениво переговариваются, гадают о том, что их ждет после получения приказа о переводе сотни снова в полк, на Линию, для прикрытия левого фланга. Это означает очередной поход и все его тяготы. Там не повалешься, чихирьку не выпьешь. Нет там баб и девок, таких вот, как в соседнем дворе казака Довбни — три сестры: две девицы и молодая вдова с пятилетним сынишкой. Ласковая, приветливая казачка, из всех постояльцев особенно ласкова с Василём. Сейчас он один занят делом — второй день вырезает из липового полена лошадку. Сказал, что хочет побаловать мальчика, но казаки понимают, перед кем Василь хочет похвастаться своим рукодельем. Гаврюшка, его приятель, вообще считает это пустым занятием.

— Чи она коней не бачила? — презрительно спрашивает он. — Ты б яку-небудь птицю вырезав. Гусака, к примеру

— А гусака она не бачила?

— Ну, тогда оленя с рогами, або павлина.

— Ага, зараз — с рогами, — добродушно отзывается Василь, не отрываясь от работы. — Я, окромя коней, больше ничего не умею. Нехай буде конь. — И, отставив на вытянутой руке поделку, любуется своей работой. — Бачишь, який гарный хвост да грива. А если еще на колеса поставить — добра буде цацка!

Тут все повернули головы к саду на дальние голоса. К ним, коротко переговорив с хозяйским сыном, подошел шапочно знакомый мальч, Иван, слуга одного из лежавших в городке офицеров. Он поздоровался, по-своему сел возле казаков. Бродил он по городку от нечего делать, но сказал, что ходил на биржу к мещанину Мурлыкину, содержавшему лошадей и экипажи, узнать, возьмутся ли там перебрать ходовую часть барской линейки и во что это встанет. Казаки оживились, заговорили о курортном быте офицеров. Гаврюшка поинтересовался у Ивана:

— А твоего як фамилия?

Иван назвал, и Гаврюшка весело удивился:

— Так я ж его знаю! Вот ты у кого! Конь под ним добрый... А скажи, якого черта он днями по степу скачет, людей смешит? Дурь сбуть некуда? Он доскачетя, шо татары зааркянат, в горы уволокуть!

Оказалось, что об этом офицере довольно слышаны и остальные казаки. — И я его знаю, — весело сказал Василь и даже оставил работу. — Неказистый собою, низенький, а на коне прямо чертом сидит, гарцует не хуже черкесаки якого.

— Пусть неказистый, — хмуро признал Иван, — зато добрый. — И за чем-то опять соврал: — Обещался после Кавказа вольную дать.

— Пьяный небось был?

— Зачем — пьяный? — возразил Иван. — Натура такая. Что пообещает — непременно сполнит. Он уже восемь семей своих на волю отпустил.

Степан Загоруйко, черно загоревший, крепкий казак, сидевший голым по поясу, с рубахой, намотанной чалмой на голове, желчно заметил:

— Богатый! А чо же он от Кавказа не откупился? Напоив бы в столице якого-небудь штабного генерала, або сунув ему тысячу, мол, так и так, нельзя ли, ваше пресходительство, возля вас верой-правдой послужить? Так бы и остался на службе в столице.

— Ага, откупился, — со знающим видом вступил в разговор разбитной и говорливый казачок Терешко. — Он же скандалу нарбил на весь Петербург. Когда его друзяка, тоже писаря, убили, он стихирь написал на государя. Я, правда, того стихиря не читал, бо неграмотный, — печально и важно заметил Терешко, — но чув, шо промеж собой офицерья балакали. Там, казали, чуть не матюками его обложил. Мол, сидишь у столице, на троне, вечно пьяный, пригрел возля себя всякого сброду, одних лизоблюдов, из-за них не бачишь, шо кругом злодейского делается. Ну який же царь-государь таке стерпит? — снисходительно спросил Терешко у слушателей. — Ага, кажет, раз ты такой умный, все бачишь-понимаешь, то погоняй-ка ты на Кавказ, побалакай с чеченами. Нехай они тебе расскажут, шо я правильно делаю, а шо неправильно. И приказом турнув его сюда. Побыл он тут, в га-лафеевском деле проявил себя, — тут уже ничо не скажешь, — и дало ему начальство отпуск за храбрость. Поехал, и приспичило ему в отпуске на великий бал у самом дворце. Танцое, винцо попивае, своей беды не чуе. И тут, як на грех, сам царь всходит. Побачив его — и глаза на лоб: “Лермант, це ты? А ты шо тут робишь? Я тебя, так твою мать, куды послав? Я тебя послав на Линию, охранять нашу державу. Ты зараз на Кавказе долже будь, а не с барышнями вытанцовывать. Шоб завтра тут и духу твоего не было!” И опять шуганув его сюда.

— Знаю и я того Лерманта, — весело сказал Митька, похожий на горца, темным, горбоносым лицом, заросший по плечам курчавым волосом. — Бачив его в деле в Гойтинском лесу, кажись, в октябре прошлого года, возля Алды-аула. Да, — припоминал он, сузив глаза, — неказистый, клешнятый, а верткий, бесстрашный черт. Кидается на завалы в самую гущу. Ему Дорохов посла раненья свою сотню “охотников” передал, а там же, сами знаете, шо был за народ, одни головорезы — черкесы, татарва, наш брат-отчаюга, штрафнюк-оторви-голова. Так они в самое пекло лётали, выручали артиллерию на завалах.

— Прощенье выслуживает, — презрительно отозвался Степан.

— Верткий! — зло крикнул казак Лука. — Нехай спасибо скажет Митрохе из второй сотни. Схватились они в том же Гойтинском лесу на речке с чеченами, те окружили их вместе с тем Лермантом, так Митроха в самый горячий миг развернулся, потянул саблюю синелобого, ажно мозги брызнули. А то б еще один секунд — и забыли бы до сего дня, як и звали того Лерманта. Ты-то, Митька, должен помнить!

Митька, снисходительно улыбаясь, прикрыл глаза. Иван обиделся столь пренебрежительным отношением к своему барину и, чтобы повысить его значимость, сказал, что нынче у того должна состояться дуэль. Здесь выяснилось, что не все казаки, какими бы они ни были третьими в свете и бывальными людьми, знали, что это такое. Объяснил все тот же Терешко.

— А с кем? — после долгого молчания спросил Степан.

— Вот то оно и горе, что — с кем, — сокрушенно ответил Иван. — С другом со своим, тоже офицером, Мартыновым.

Тут казаки еще больше удивились, поскольку Мартынова хорошо знали

все: в жестоком сражении в прошлом году на реке Валерик ротмистр Мартынов командовал сотней линейских казаков.

— А за шо? — полюбопытствовал Лука.

Иван ответил, что не только он — сами друзья офицеры не могут понять, в чем причина ссоры. Ему они, конечно, не рассказывают, он сам об этом деле краем уха слышал. Знает точно, что Мартынова на мировую уговорить не удалось, двое из них поехали сегодня в Железноводск, сообщить Лермонтову, куда приехать на эту самую дуэль. Не понимают, поэтому страшно злятся на Мартынова. Но поделаться ничего не могут, вынуждены подчиняться дуэльному закону. А ведь друзья были — не разлей вода. Вместе учились. Барин его как брата любил, правда, подшучивал частенько над ним, да ведь все они друг над другом шутят.

— Ну и дурак тот Лермант — подставлять свой лоб под пулю! — жестко заключил Лука и, закинув руки за голову, лег на спину. — Не на меня наварлся тот Мартын. Я бы его ночью из-за куста ударил так, чтоб не пискнул, раз ты, сволочь, ни уговоров, ни доброго слова не понимаешь.

— Обидел, значить, крепко, — задумчиво предположил Василь.

— И шо теперь? — жельно спросил Лука. — Мы кажен день обижаем один одного, так шо значить — убивать?

— Не люблю я тех дуvelей! — громко и зло сказал Степан, раздувая ноздри. — Тут каждая христианская душа на учете, а они моду взяли — стреляться! У позапрошлом годе тако же схватились по пьянке два офицера. Выехали в горы и давай стреляться. И спросить бы — с чога? Имень не поделили, або яке богатство? Нет, один на другого не так за картами глянул, не так сказал. И шо? Одного мертвым привезли, другой от раны через три дня отдал Богу душу. Командир, когда писал звещенья, прямо слезами плакал. Вот уже счастье придет батькам за его подписью!

— С жиру бесятся ихни благородия, — язвительно объяснил Лука.

— Сегодня, кажешь? — поинтересовался Василь и заулыбался: — Поглядеть бы, як оно там.

— Оно тебе надо? — презрительно спросил Степан. — Нашел чем любоваться: русский русского убивает!

— Сегодня, — печально подтвердил Иван. — Вечером. Правда, офицеры говорили, что до смерти не дойдет, не смогут они стрелять друг в друга.

— Так чога же ты тогда журишься? — удивился Гаврюшка.

— А он того журился, шо если убьют хозяина, ему вольной не видать, — пронизательно сощурился Лука. — Я правду кажу, крепостная душа?

— Да нет, — печалился Иван. — Я тоже думаю, что Бог милует, да нынче сон нехорош был...

— Ну, ты як баба! — хохотнул Лука. — Снам веришь. С похмелья иной раз такое приснится! Встренутся, покажут друг дружке свою храбрость — тай годи! Не переживай, холоп! Вернется твой Лермант живой и здоровый! Еще напьются вусмерть на мировой. Так шо ты весь чихирек им не выставляй. Прибережи ведрце до нашего возвращенья! — И засмеялся, переглянувшись с казаками.

Иван хотел еще поговорить, рассказать казакам о душевной доброте барина и о том нехорошем чувстве, с которым он вчера утром седлал ему коня, провозая в Железноводск. Но казаки уже потеряли к нему интерес, заговорили о своем. Он для приличия посидел еще немного и побрел со двора.

Как-то незаметно сменилась погода. Живописные белые облака размылись в очертаниях, пошли серыми полосами, вокруг все сникло, цвета поблекли, еще больше затуманились долины и сами горы. Стало еще жарче, все походило на то, что к вечеру соберется гроза. Это казакам было уж совсем ни к чему — в ночь да в грозу уезжать в небезопасную дорогу.

5. ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Рано утром пятнадцатого июля Катенька Быховец вместе со своей теткой Обыденной, в сопровождении конных Бенкендорфа, Пушкина и Дмитриевского выехала в Железноводск.

Тетка ехала провести родственницу, помещицу Прянишникову, пожить у нее дня два-три да принять по рекомендации врача Рожера несколько “железных” ванн. Майор Пушкин, будучи командиром Ставропольского казачьего полка, решил навестить своего сослуживца, только что ушедшего в отставку ротмистра этого же полка Иванцова, да тоже размяться верховой прогулкой.

Чтобы не трястись по жаре в духоте коляски, выехали в шесть утра. Бенкендорф, гордый тайным и важным поручением сообщить Лермонтову условия дуэли, всю дорогу отмалчивался. Ни словом не обмолвился Пушкину и Дмитриевский. Оба они, посвященные в дело, молчали.

В легком расположении духа был один Пушкин. На ходу, склоняясь с седла, коротко переговаривался с дамами, обращал их внимание на тот или иной вид Пятигорья, удивительно хорошо открывавшийся в раннем свежем утре.

На пути остановились в Шотландке у мадам Рошке. У нее долго не задерживались, дамы поправили туалеты, выпили по чашке кофе и отправились дальше.

Бенкендорф, улучив момент, попросил хозяйку приготовить сегодня к пяти вечера все для дружеского застолья десятку офицеров. Хозяйка охотно согласилась, ей не впервой было устраивать в своей гостиничке ужины и для многолюдных компаний, и для влюбленных парочек, искавших уединения, чтобы не быть замеченными в Пятигорске.

На выезде в городишко, больше похожий на бестолково застроенную казачью станичку, всадники откозыряли улыбающемуся в оконце коляски смуглому личику и разъехались. Пушкин свернул в проулок, где проживал отставной ротмистр. Дмитриевский и Бенкендорф проехали единственной улочкой к дому пятигорского писаря Карпова, у которого снимали по комнате Лермонтов и Столыпин.

Приехали вовремя: постояльцы уже купили билеты и собирались идти к ваннам. Пока лермонтовский дядька готовил гостям завтрак, Бенкендорф рассказал об условиях дуэли и о планах на сегодняшний день.

Общую встречу противников и секундантов назначили в Шотландке на пять вечера. Если у немки не произойдет примирение, то к шести вечера выезжают на поединок. Уж там-то, на месте, где противники с пистолетами в руках сойдутся у барьера и тем самым проявят личную храбрость, ссора неизбежно закончится мировой, отметить которую отправятся к той же Рошке. На все это уйдет часа три, а к девяти вечера все возвращаются в Пятигорск, чтобы инкогнито побывать на балу у Голицына.

— Серьезные условия, — усмехнулся Лермонтов. — Он сразу согласился?

— Мне показалось, что он даже остался доволен, — ответил Бенкендорф. — Во всяком случае, возражений с его стороны не было, — торопливо добавил он из опаски говорить отсебятину в таком сложном деле.

— Поблагодарил, поклонился и вышел. Гляди, какой храбрый... В шесть? А где?

— У Машука, возле скалы, недалеко от дороги, есть там полянка, — сказал Бенкендорф, — и выстрелов не слышно, и колонка недалече.

— Это вам он, положим, ничего не говорил, — хмуро заметил Столыпин, — поблагодарил и вышел, как вы говорите. Но ведь с секундантами он, помимо условий, конечно же, обсуждал положение дела. Они же, посылая вас, наверное, поделились с вами подробностями этих разговоров. Не так ли? Неужели только дуэль?

— Ну, коли поблагодарил, то надо полагать, только дуэль, — желчно отозвался Лермонтов. — Так, глядишь, самого Дорохова превзойдет. Ему бы еще стрелять научиться ...

— Да как же ему не согласиться? — недовольно остановил лермонтовское ерничанье Столыпин. — Ты же поставил его в безвыходное положение. Теперь он просто вынужден пойти на любые условия.

— Простите, но я ему в грудь дулом пистолета не тыкал, — серьезно ответил Лермонтов. — Он сам себя поставил. Теперь, может, и рад бы откаться, да... — Ты знаешь, зачем они приехали? — спросил он Столыпина,

указав кивком на Дмитриевского. — Уговорить меня извиниться перед ним с тем, чтобы он мог взять вызов обратно. Условия можно было передать запиской с моим Иваном, а не трястись в седле ни свет, ни заря восемнадцать верст. Верно? — обратился он к гостям. — Вы за этим приехали?

Бенкендорф неловко улыбнулся и подтвердил: несмотря на то, что у них откровенного разговора с Мартыновым не было, все, и прежде всего секунданты, уверены, что, если Лермонтов примет какие-то шаги к примирению, то дело закончится без всякой дуэли у фрау Рошке. Они же, собственно, прибыли лишь известить об условиях и часе поединка, чтобы Лермонтов мог как-то рассчитать время, подготовиться... Скоро сюда приедет Глебов и, как секундант, расскажет более подробно, с ним-то Мартынов, наверное, был более откровенен...

— Я не ошибся, — с каким-то довольством сказал Лермонтов. — Ему нужны мои извинения... Ты тоже склонен, чтобы я извинился — и дело с концом? — весело окликнул он Столыпина.

— Ты и тут не ошибся, — сказал Столыпин и принялся разжигать короткую глиняную трубочку. — Не нравится мне вся эта история.

— Но в таком случае как буду выглядеть я? — спросил Лермонтов. — Вы подумали обо мне? Мартынов меня вызвал, а я, испугавшись, тотчас же попросил у него прощения. Хохоту будет на всю армию.

— Мишель, а ведь ты и виноват, — сказал Столыпин. — Ведь это ты его оскорбил, если быть точным, согласишься. И далее тебе этот кинжал! — с досадой напомнил он другу.

— Да, виноват, — спокойно согласился Лермонтов. — И я непременно извинюсь перед ним, попрошу прощения. Но только после дуэли. Вы-то понимаете меня! Я ведь тоже оказался в безвыходном положении.

Его понимали. Действительно, чтобы, не ущемляя самолюбия, вывести обоих противников из тупикового положения, в котором они оказались, нужен был кто-то опытный, умный. Все невольно подумали о Дорохове.

— Пушкин не знает? — спросил Лермонтов. — И не надо ему знать. Не то возьмется уладить и все испортит. А мне это теперь ни к чему. Послушаем Глебова, посмотрим на Мартынова. Одно скажу: я в него стрелять не стану. А как дальше спляшется — не будем загадывать. Право же, — улыбнулся ласково гостям, — стоило ехать столько верст...

Бенкендорф, считая поручение выполненным, только теперь сказал, что они прибыли почетным эскортом и конной охраной у Катеньки Быховец. Лермонтов обрадовался.

— И сидят помалкивают! Ну, друзья мои, завтракайте без меня. Ванны пока не откладываются. Я ненадолго, — и пошел одеваться к выходу.

— Да ты дай ей прийти в себя после дороги, — крикнул вслед Столыпин.

— Ничего, мы с ней свои люди, — донеслось из спальни. — Вы располагайтесь, друзья, удобнее, до вечера времени много.

* * *

— Вот, Михаил Юрьевич, вы просили навесить вас? Пяти дней не прошло, как я исполнила обещание, — с улыбкой сказала она, поднимаясь из-за столика и протягивая ему руки.

— Благодарю, друг мой, — растроганно ответил он, целуя мягкие душистые пальчики в простеньких перстеньках. — Надолго?

— К вечеру обратно, — сказала она, и удивилась, заметив разочарование в его лице. — Но ведь и вы едете? На бал к Голицыну?

— С вами хоть к черту в зубы, не то что к князю! — по-гусарски ответил он. — Как вы? Что нового? О чем судачит Пятигорск?

— Да что же там нового может быть за три дня? — удивлялась она его радостному волнению, тону его голоса. — О последнем московском письме я вам говорила.

— Это кто к нам таким ранним гостем? Никак Михаил Юрьевич? — слышалось из другой комнаты, и к ним вышла тетушка Евдокия Григорьевна. — Конечно, он, кому же еще... Вы, Мишенька, тоже за “железом”? Ну, что здесь нового? Народу к ванной много? Билеты свободны?

Он понял, что поговорить ему здесь с Катенькой не дадут. Она накинула на плечи седую вязаную шаль и вышла с ним в недалнюю рощу.

Медленно шли туманной, словно полной легкого дыма солнечной рощей, по ярко-пестрым теням бука, липы, карагача, травянистыми тропами, в которых еще мокро краснела земля под эмалевой голубизной в узловатых суцьях под головами.

Она тесно шла рядом, крепко опиралась ему на руку, так, что он ощущал тепло ее полных бедер, слышал запах ее густых каштановых волос, под дорожному просто собранных под заколку — бандо.

Он то расспрашивал об общих, хотя и дальних родственниках, то вновь возвращался к пятигорскому обществу, возбужденно перескакивал с одного на другое, поглядывал на нее радостными глазами, радуясь и ей и ее ответам.

— Да что с вами, Михаил Юрьевич, — удивленно приостановилась она. — Вы и вправду... словно мы год не виделись. Рады, что уехали из Пятигорска? Чем же он хуже этого улуса?

— Кроме того, что вы рядом со мной, мне радоваться нечему. Здесь дождусь почты — и в Хан-Шуру. Хорошо, если сразу в экспедицию, а то ведь и там сидеть сиднем, ждать у моря погоды... Конечно, радуюсь. Вы, душенька, словно ангел, спустились с небес к осужденному узнику.

— Да полно вам, Мишенька, — улыбнулась она, — нынче на балу вокруг вас этих ангелов — роем будет. И далеко не все безгрешные! — лукаво добавила она.

— Мне, душа моя, сейчас все равно какие, — что уже падшие, что еще порхающие, — отмахнулся он.

— Были бы женаты...

— Что бы это меняло?

— С отставкой проще — семья, дети... государь это ценит...

— Вот кем я себя не представляю, так это женихом. Вы представляете?

— Вполне... — уже уверенно ответила она. — А что вам мешает? Невест мало?

— Расходы на свадьбу большие... Пока не выйду в отставку, ни о какой женитьбе не может быть и речи. Оставить вдовой молодую женщину? Здесь, на Кавказе, не знаешь, откуда пулю ждать. У меня не так давно друг погиб, Володя Лихарев. Вот так же шли с ним после боя, разговаривали. Вдруг выстрел — и мой Володя падает замертво. Наповал! Вокруг одни наши, а вот нашелся же один дикарь, засел в кустах... Я долго потом думал: почему, почему он взял на прицел его, а не меня? Ведь ему все равно кого. Чуть сдвинул левее мушку — и моя голова не под брачным венцом, а под могильным... — И вдруг засмеялся: — И вы представляете меня в брачном наряде?

— А что? — задорно засмеялась она. — Представляю!

— А с кем?

— С кем? — она приостановилась, серьезно взгляделась в его лицо и вдруг растерянно улыбнулась: — Не знаю... — но тотчас спохватилась: — Ну и что! Представляю, только скажите с кем. Еще каким хорошим семьянином будете, примерным отцом, вы не наговаривайте на себя!

— Либо пьяницей... Нет, душа моя, не видать мне скорой отставки. Государь на меня разгневан, я у него в черный кондукт внесен. Великие княжны меня не любят...

— Да вам-то что за дело до княжон! — негодуяще перебила она. — Знал бы папа — государь, что за амурь разводит его ненаглядная дочурка Машенька! Знал бы — непременно упек пожизненно в монастырь!

— Ну, не нам ему об этом сообщать.

— А нашептывать дурно о ваших стихах папеньке на ушко можно?

— Бог с ними...

Некоторое время шли молча. Она, поминутно наклоняясь, будто бы выбирая места посуше, все тяжелее наваливалась на его руку, все теснее прижималась к нему теплым бедром и вдруг тихо спросила:

— От нее нет писем?

Он даже вздрогнул от удивления: насколько совпали их мысли об одной и той же женщине.

— Оказией весточку...

— И этого нет. Да и не нужно. Прошлого не вернуть. Что я могу ей дать? — с болью спросил он. — Из меня даже мирного пьяницы не получится.

От света, обилия теней кружилась голова. В ботинках на высоких каблуках она неожиданно оступилась на засохшем копытном следе и едва не завалилась вместе со спутником в траву. От резкого движения ее тяжелые каштановые волосы выскользнули из-под небольшого ободка, обильно рассыпались по плечам. Он поднял блестящую вещицу, бережно отёр ее обшлагом сюртука и спрятал в карман.

— Нет, нет, Миша, верните, — попросила она, оправляя волосы под накинутой на голову шалью.

— Верну непременно. Сегодня на балу... Послушайте, — таинственно заговорил он, — а зайдем ко мне на минутку... закусьте.

Она удивленно уставилась на него.

— Я вас очень прошу...

Но она уже справилась с собой.

— В таком виде? — и с улыбкой указала на свою голову.

— На минутку, — умоляюще попросил он.

— Что вы, Михаил Юрьевич, я и так загулялась. Петушки, наверное, заждались к завтраку. Увидят меня такой — что подумают? — И добавила, глядя в его лицо, еще более побледневшее в зеленом золоте чащи таким тоном, что у него дрогнуло сердце:

— У нас еще будет время... В Пятигорск вместе?

Всю обратную дорогу они говорили о предстоящем бале, знакомых, стараясь быть как можно проще.

* * *

В простеньком застолье, за общими разговорами незаметно пролетело время, а к полудню, жаркому, душному, приехал на мартыновских бегунцах Глебов, привез пистолеты — и кое в чем дополнил утренних гостей. Оказалось, что благостную картину примирения, которую они нарисовали, портила неожиданная для всех решимость Мартынова стреляться. Извинений от Лермонтова он теперь не принимает. Вообще ведет себя вызывающе, стал еще более заносчив. Только дуэль. Уверения друзей в том, что это — очередная поза, и стоит противникам встретиться, посмотреть друг другу в глаза...

— А мне извиниться, — негромко вставил Лермонтов, не спускавший с конногвардейца глаз.

— Это уж как тебе Бог на душу положит, — сухо ответил Глебов. — Мне думается — до дуэли извинений от тебя не будет? Или я ошибаюсь? — в последней надежде он взгляделся в собеседника.

— Не будет, — строго ответил Лермонтов.

Глебов неопределенно пожал плечом и закончил тем, что, по убеждению друзей, дело может закончиться еще в гостинице у фрау Рошке — в крайнем случае, формальным обменом выстрелами — его не успокаивает, а поведение Мартынова его уже тревожит: вон они, пистолеты, кухенрейторы, второй номер, дальнобойные, с зарядами на три выстрела каждый...

— А вас, господа, это не тревожит? — обратился он ко всем, но при этом выделяя, обращаясь к Столыпину, как к человеку, имеющему маломальски власть над Лермонтовым.

— Ну почему не беспокоит? — сумрачно отозвался Столыпин. — Беспокоит... — и пояснил свое опасение. Он тоже уверен, что до прицельных выстрелов дело не дойдет. Но, чем бы она ни кончилась, слух об очередной дуэльной истории неизбежно дойдет до двора. И вот тогда уж точно Лермонтову не видать отставки.

— Что ж, как знаете, — устало произнес Глебов. Он действительно уже устал убеждать приятелей в опасности ситуации. Он сказал все самому близкому человеку Лермонтова — Столыпину. Теперь все в руках Лермонтова. А он, как секундант, не может более настаивать, чтобы не расценили как струсившего...

Да, Лермонтову помалу стали надоедать не только пятигорские дамы, барышни, разбитные казачки — все, и местные и приезжие.

С каким-то удивлявшим его самого нарастающим равнодушием он стал воспринимать вообще все пятигорское водяное общество с его столичной спесью, высокомерием, вельможным чванством — все это очень выпукло обозначалось здесь, в провинции, — с наигранными взглядами, позами, фразами, однообразными разговорами, неотличимыми от сплетен. Все то, что называется светским поведением, правила которого обязательны для каждого, кто числил себя его полноправным членом.

Да более того: угасал интерес к общению с друзьями, приятелями.

Он по-прежнему участвовал в дружеских пирушках, попойках, на которых острил, забавлялся, веселя присутствующих, пил со всеми рюмка в рюмку, со всеми ездил в ресторацию, где легко садился за зеленый стол “метнуть банчишко”, легко проигрывал-выигрывал и, по общему мнению, был душой любой компании.

Но вот былого горячего азарта, искреннего веселья до безудержного хохота уже не было. Друзья хотели видеть в нем привычного Лермонтова, весельчака, затейника, щедротника — он старался их не разочаровывать.

Иногда в разгар шумной, веселой вечеринки им овладевала беспричинная грусть. Он не позволял ей долго властвовать над ним, гнал прочь, зная, что она неизбежно перерастет в долгую глухую тоску — чувство тяжелое, гнетущее, от которого ему будет уже не так-то просто избавиться.

Тогда становилось неприятным все — всякие общества и общения, собрания и подшисные вечера, и сам городок — маленький, душевный и скучный, несмотря на многолюдие.

Раздражали порой даже приятели — празднословием, ресторацией, попойками, найтаковскими номерами, но более всего в ту пору он раздражался на самого себя: на нескладную судьбу, характер, поведение, безвыходное положение сосланного — на всю свою нескладную жизнь.

В дальнейшей военной службе он не видел для себя ни призвания, ни роста и, следовательно, смысла.

Служить дальше — это означало воевать. Если воевать, значит — самому убивать, что было противно его существу, или самому быть либо убитым, либо искалеченным, а невозможность уйти в отставку усугубляла душевный разлад.

Доходило до того, что он сам себя ненавидел и временами ловил себя на том, что ему иной раз легче разговаривать со слугами, чем с приятелями.

Когда доходило до душевного смятения, он, чтобы воспрянуть духом, сам организовывал вечера, балы, верховые прогулки.

Хлопоты, подготовка к увеселениям отвлекали. Занимаясь балными затеями, незаметно увлекался и, войдя во вкус, уже, как прежде, веселился, танцевал, всюю любезничал, флиртовал с барышнями, забавлял друзей искрометными шутками, — был таким, каким его привыкли и хотели видеть.

Но теперь и во время бала, в разгар веселья сердце на какое-то время схватывало чувство беспричинной грусти, светлой печали.

День-другой он еще находился под впечатлением бала, вечера, перебирая подробности, посмеивался вместе с друзьями над участниками, над собой.

Однако впечатление таяло, и вновь подкрадывалось знакомое чувство тоски, вновь окружение теряло для него интерес, какое-то значение. Теперь в балах, к еще большему своему удивлению, он тоже разочаровывался, они теряли для него свою прелесть.

Он понимал, в чем причина, почему и чем томится его душа.

Дело не в водяном обществе, приятелях или в дальнейшей бессмыслен-

ности военной службы, не в какой-то душевной усталости, либо, что еще хуже, опустошении.

Он понимал себя так: это его душа освобождается от житейского хлама, очищается от мусора, готовя себе место для чего-то гораздо более важного, сложного, высокого.

Да, с людьми все чаще становилось скучно, утомительно. Нет, нет, он не осуждает их, ни в коей мере.

Он не кривил душой, когда позавчера об этом говорил Надежде.

Разве это их вина, что он умнее, острее чувствует мир?

Ему дано... Одному дано, другому — нет.

Тщеславные, обидчивые, непонимающие — да ведь не ему их осуждать.

Да, осуждать нельзя. Но высмеять, подшутить над пороком можно. Да, Бог их такими создал, но ведь Он и просил совершенствоваться, избавляться от дурного.

И если человек не знает, что в нем дурного, от чего ему надо избавляться, — это еще полбеда. Беда, когда знает и не хочет.

Не хочешь? Тогда уж будь готов к насмешке, если не понимаешь дружеского совета...

А к самому себе твои рассуждения применимы? Сам-то ты сознаешь свои недостатки? Почему не исправляешь? То-то же...

Скучно и глупо.

Но есть одна отрада, великое спасенье — остаться наедине с природой.

Когда после очередного местного бала либо вечера или долгой дружеской пирушки на душе ничего, кроме тягостных мыслей о человеческих слабостях и глупости, пустоты и разочарования, не остается, и исподволь овладевает гнетущее чувство горечи и злости, природа, как самый преданный и умный друг, приходит на помощь.

Чего лучше — оседлать Черкеса и умчаться прочь, далеко от людей, в степь, там сойти с коня и надолго завалиться в травы, глядя в небо, откуда нескончаемо льется хрустальный звон жаворонка, царственно кружат в голубом поднебесье степные коршуны.

Каким же прекрасным предстает в те минуты мир, как легко и радостно дышится, сколько физических и душевных сил вскипает в нем среди степного простора, под голубыми небесами! Какие мысли, чувства переполняют в те минуты душу, сердце, ум!

Ах, как сладко и радостно жить в те минуты!

Жить, каждой жилкой, каждым вздохом чувствовать движение природы, сливаться с ней, становиться ее частью, как давно она уже стала частью его души, сознания, сердца.

С каким волнением встречает сердце раннее утро, особенно здесь, на Кавказе, где так резко очерчены свет и тени, где остро чувствуется восхождение солнца, нового дня!

Где при постоянной опасности быть убитым как нигде понимается ценность всякой жизни и бессмысленность войны, где в полной мере чувствуются величие и грандиозность воплощения великого Божьего замысла.

В такие минуты уединения природа не только безмолвно отвечает на его самые сокровенные чувства, но она сопереживает его состоянию души, его мыслям, незаметно врачует душевные раны.

Часто и неожиданно создает такие картины в его воображении, когда тотчас возникает словесное отображение и точное чувство, соответствующее этой картине, — тогда на лист бумаги ложатся лучшие строки.

Что за дивные картины возникают в воображении в ту пору!

Как друг и помощник помогает, соответствует природа тем мыслям, образам, художественным картинам, людям, образы сами возникают в воображении, теснятся, переполняют сердце, ум, душу с такой ясностью, что с ними уже, как с живыми, — надо, приходится разговаривать, спорить, отвечать на вопросы, учить их, радоваться и удивляться, огорчаться их мыслям, поступкам, учиться у них и даже подчиняться им.

И какая же все-таки страшная, нерасторжимая связь его с природой!

С полями России, и с этим горным краем, с белыми ночами Петербурга и с золотыми бесчисленными куполами московских церквей, сияющих в московском бирюзовом небе.

Или молча ласково и неотрывно смотрит на него тихими звездными очами. Что-то говорит грозами и бурями, ропщет...

Мягко разговаривает теплотой и спокойствием летних дней или жаркими звездными очами, вот как сейчас, в сию минуту.

Иногда приходят уж совсем странные мысли: может, это светлые небесные силы разрешили покойной матери за недовысказанную при жизни любовь к сыну — разрешили ей помогать ему сверху?

Даже жутко и восторженно-радостно чувствовать эту связь. Невольно приходят мысли о своем будущем...

Словно хочет открыть ему нечто очень важное, сокровенное, — чтобы никто не подсмотрел, не подслушал, только ему одному.

Тогда дает ему точно знать, предчувствовать: скоро поднимется ветер либо придавит мороз, придет гроза, наступит жара либо установится, натянется ветром долгое ненастье.

Странно, но природа, как живое существо, не терпит от него винного запаха. Стоит хоть немного выпить — и уже не те чувства, притупляются.

Так в неловкости за пьяного хозяина отворачиваются от него самые преданные животные — кони, собаки...

Но еще более странно, что он стал замечать за собой какую-то власть над природой. В чем это выражается?

Боже мой, Ты дал такую любовь к Твоему замыслу, что сердце иногда готово разорваться от любви и оттого, что невозможно маленькому человеческому сердцу выразить эту любовь.

Выразить восхищение, благодарность за великую радость оттого, что Ты дал возможность понять, оценить и вместить в маленькое человеческое сердце, принять в свою душу.

Да, сердце порой готово разорваться от сладкой и мучительной боли и радости, когда, спешившись, сойдя с разгоряченного коня и завалившись в траву, видишь, как в траве ползает букашка, а подняв глаза к высокому небу, в его бездонную глубину, в райски-голубую, понимаешь, что даже эта букашка, всползавшая по былинке, имеет такую же связь с этим небом.

И этот разгоряченный скачкой конь, что задорно и грозно-дружески косятся на валяющегося в траве хозяина, — и он тоже частица этого мира, частица великого Божьего замысла.

Выводит в степь, заставляет седлать коня, вызывает на скачку, в степь, в горы — на простор, словно хочет открыть ему нечто очень важное, сокровенное, но так, чтобы никто не подсмотрел за ними, не подслушал. Только ему одному.

Боже, какая власть, какое единение! Как все живет в страшной, неразрывной связи и все вместе — живет, дышит в каком-то упорном, неистребимом желании, с какой-то непонятной целью.

Для чего-то неразрывно, упрямо живет и будет жить, умирая и вновь возрождаясь для продления этой жизни.

Эта букашка, и этот конь, и эти горы, доли, степи, небо — это все принадлежит ему, и дано ему на радость, на мысли, для его сердца.

Он, Лермонтов, их всех понимает, знает, что они думают, что чувствуют.

Он знает, что каждая былинка, каждый громовой раскат — все едино в мире, все взаимосвязано непостижимой и нерасторжимой до скончания времен связью.

Возникает даже страх: с таким обостренным чувством природы, с оголенными нервами сознать, ощущать страшную красоту и величие Божьего мира — становится боязно за свое будущее.

В такие минуты всем все прощает — и глупость друзей, и клевету врагов, неверность женщины, даже этому недалекому Мартынову...

И сразу становятся мелкими и люди, и страсти, которыми они живут, и ничтожность всей этой "светской" жизни. Теперь он знает ей истинную цену.

Ему дано? Хорошо, дано.

И почему-то он глубоко убежден, он твердо знает, — то, что ему дано, нельзя открывать никому. Ни близкому другу, ни любимой женщине. Даже малейшая попытка заговорить об этом с кем-либо делает его объяснения — речь бессвязной, странно-косноязычной до того, что он чувствует удивление настороженное со стороны собеседника.

Словно кто-то закрывает уста и гасит желание поделиться этим пониманием.

Да и с кем говорить об этом? С друзьями? Им нужен остроумец, весельчак. И уж никак не Лермонтов со странными речами-откровениями.

Те, с кем бы он мог поделиться, далеко.

Даже с Монго. Хмур, молчалив, меланхоличен. Стал уставать от верховой езды. А ведь ему скоро в полк. Женщины без ума от него, а он уходит, сторонится. Постоянно, как евнух, сторожит меня, чтобы я не переусердствовал...

6. ЭМИЛИЯ

Бесцельно и грустно бродила по садику в тот день и Эмилия. Иногда оттаивала у того или иного деревца, рассеянно пробовала плод на вкус. Черешня давно отошла, яблоки и груши еще наливались, а вот вишню надо снимать.

Грустные мысли были связаны с балом, который по случаю своего дня рождения князь Голицын нынче вечером дает в Ботаническом саду, точнее, с платьем, в котором она непременно должна быть на этом балу.

Как неудачно на этот раз выбрали белошвейку! А уж как расхваливали! Нарукавные буфы по верху закошены. Мать и швея уверяют, что к вечеру платье поправят в лучшем виде, но ведь косит при полной шнуровке и корсет, а для ее удивительной талии это просто ужасно. Попробуй тут выгладить на равных с наезжими франтихами, которых обшивают лучшие столичные модистки! Местные дамы остались довольны последним ставропольским завозом — розовый и голубой батист, шелк-канаус, мовь, тесьма, ленты, пражский стеклярус. Да что с того, попади он в руки неумехи!

Она тоже местная, однако сравнивать ее с плац-майоршами, регистраторшами, комендантшами и прочими из “благородных” — просто смешно, по меньшей мере. Матроны, вроде бы в приличном возрасте, а поди же ты! Кринолины, румяна, французские духи, модные журналы — и полнейшая безвкусица.

Своему тонкому вкусу она обязана породе. Немецкая, польская кровь старинных родов течет, бьется в ее голубых жилах! И, разумеется, должному воспитанию. Харьковский пансионат, отличный французский, манеры, а игру на рояле отмечают ценители музыки. И, конечно же, внешность. Но это уже врожденное, как говорится, от Бога. При мысли о внешности вновь грустно затуманилась. Все отмечают ее привлекательность, говорят о каком-то чудном обаянии, о тех же манерах. Роза Кавказа... Ох уж эти льстецы-поэты! Младшие сестры завидуют... Ну, завидуют, положим, не ее красоте и светским манерам, скорее, успеху у мужчин.

Но по утрам, когда она, умывшись, садится к зеркалу, бесстрастное стекло отражает тонкие “гусиные лапки” у висков, чуть наметившиеся складочки у рта. Нет, маменька, это не “смешинки”, это — возраст. От природы не скроешься за румянами-белилами, календари — не поэты, а стекло равнодушно-безжалостно. Чуть наметились, но сколько в них печали! Это что, ее будущее?

Нет, нет, довольно печалей. Она должна устроить свою жизнь обеспеченной. Замуж пора, пока может составить кому-нибудь партию. Дальше откладывать нельзя. Именно здесь, на водах.

В столицах своих на выданье предостаточно, там она просто затеряется среди девиц известных фамилий. Их даже здесь излишне много — везут отцы семейств с раскормленными женами анемичных, худосочных дочерей с одной лишь целью — сбыть с рук, выдав замуж.

В нынешний сезон холостых мужчин много, выбор есть, но поговаривают, что вот-вот придет приказ начальника штаба корпуса, полковника Траскина выслать всех офицеров по своим полкам, оставить в госпитале только раненых.

Вскоре отгремит и этот сезон, отпляшут, отзвонят балы, разъедется офицерство — кто останется? Престарелое, высокомерное столичное общество, тупое, степенное купечество, Потом и они уедут. Что останется в этой серной сырости? Жалкие “парадные” вечера в ресторации Найтаки, сплетни, чванство жен местных чиновников, платья которым тайком чинят горничные, а там зима, слякоть, пустота и злая, беспричинная тоска на долгие месяцы...

Хорошо бы за офицера со званием, достатком. И сейчас много в Пятигорске, выбор есть, да вот серьезно увлечь нужного — трудно. Взять хотя бы тот круг офицеров, который наиболее близок ее дому.

Например, князь Трубецкой. Знаменитая русская фамилия, аристократ по рождению, принадлежит к высшему свету, сам император присутствовал на его нелепой свадьбе, а брат Александр Трубецкой — фаворит императрицы. Богат, как все аристократы. Но, надо признать, несколько странен в жизни. Дерзкими выходками разгневал императора, за что был разжалован, сослан на Кавказ. Все, конечно, поправимо. Шумные истории со временем прощаются, забываются, тем более что о его храбрости в последнем деле с горцами вновь говорит весь Петербург, а его ранением серьезно обеспокоены во дворце. Да, это была бы блестящая партия!

Однако никак не поддается ее обаянию. Вежлив, светски любезен — и не более. До сих пор не может забыть свою бывшую жену — глупую, пошлую и развратную Катрин Пушкину, женитьба на которой ошеломила столицу. Усилить, как они выражаются, любовный натиск? Но где гарантия, что “неприятель” сдаст позиции? Или так напуган дурацкой женитьбой, что никакие атаки не помогут?

Глебов? Душка-офицер! Безумно храбр и вместе с тем мягок, добросердечен, друзья в нем души не чают за его дружелюбие и отзывчивость, готовность в любую минуту прийти на выручку. Прекрасный характер. Вот из кого получится добропорядочный семьянин, заботливый муж. Напрасно прекратил ухаживать за Надин, уступил Лисаневичу, у той пустышки еще ветер в голове... Ах, как хорош он в приветливой белозубой улыбке под черными усами на чистом, розовом, словно у барышни, лице! Его-то увлечь можно. Жаль, молод. Впрочем, молодость не помешала ему иметь удивительный роман с женой самого командующего. Но скоротечный роман с чужой женой — это не долгая семейная жизнь, разница в возрасте неизбежно скажется...

Раевский? Бенкендорф? Ну, это совсем два юных и глупеньких мальчика, к тому же Раевский нищ как Иов. Диков? Тоже юн и без ума от Грушеньки, и что только в ней нашел, впрочем, дай Бог им счастья...

Столыпин? Вот в ком чувствуется такая же порода. Какое спокойствие, выдержка, образованность, недюжинный ум! В каждой фразе, жесте, в поступках сквозит аристократия, воспитание. Джентльмен до мозга костей. Уже не вельможное барство, но — подлинный аристократизм, какой за последние столетия жадно впитало в себя великосветское общество, доведя его до совершенства. Богат, красив. Рафинированное лицо чисто европейского склада. Загляденье, до чего хорош собою. И по возрасту подходит.

Но уж как-то излишне выдержан, если не сказать, холоден. Меланхоличен, инфантилен и равнодушен до непонимания. Порой холоден до странностей. Нет мужского озорства, игривого нахальства, не говоря о мужской страсти. Но хорош. Партия была бы, пожалуй, лучше Трубецкого.

Лермонтов? Упаси, Боже, только не он! На днях насовсем уезжает в полк. Слава тебе, Господи! В последнее время превратился просто в какого-то ненавистника. Слова не может сказать, чтобы не уколоть. Как он недавно ее назвал — Верзилия? Ах, Бог мой, как остроумно. Бурбонский юмор, острота, место которой в гадком порнографическом альбоме, который он заполняет скабресными стишками да карикатурами на окружающих. Дошло до того, что его шуточки переходят в дерзкие оскорбления. А чего сто-

ят его замечания о маленьком черкесском кинжальчике, которым она имела глупость похвастаться перед ним. “Таким кинжальчиком хорошо колотить детей”, — ответил он с сардонической улыбкой. Это низко и подло, господин Лермонтов, напоминать женщине о ее невзгодах, в которых она не повинна. Да, она вынуждена была прервать беременность от князя Бярятинского. Такие же злые языки за глаза называли его “мужиком”. Однако князь поступил в высшей степени благородно — передал ей через Васеньку Инсарского пятьдесят тысяч рублей, целое состояние. Не “мужик” он, а настоящий благородный мужчина, без “французских любовей”, которые нередко предлагают иные молодые, но немощные парадеры. Вы же, Лермонтов, лишь за то, что с вами перестали любезничать, озлобились до невозможности, мелко мстите эграммами, шпильками, несмотря на то, что каждый день столуетесь в моем доме.

Это вы мужик, Лермонтов! Недаром ходят слухи о вашем кучерском происхождении. Вот где она, ваша холопская кровь, сказывается, даром, что поэт. Гуляет даже веселый шепоток, что вы импотент. Стихи ваши неплохие, однако книжицу вы вместо себя в постель не положите, там, простите, самому надо быть. Тем самым мужиком. На недавнем балу всюю и напоказ увивались за Идой Пушкиной. Верно, хотели досадить? Поздно, Мишель, досадить ты мне уже не сможешь. Если и было что... нет, ничего не было. Да и что может быть с таким человеком? Его шуточки перешли в дерзкие оскорбления. Доиздевался, что князь Васильчиков не выдержал: “Пора Мишеля, наконец, поставить в рамки”. А Мартынов вызвал на дуэль. Это какое же надо иметь сердце, чтобы довести друга до поединка. “Ядовитая гадина”, — так отзываются о нем на водах. Что ж, вполне точное и заслуженное определение вашей личности, Лермонтов!

Она вышла к низенькой каменной ограде, присела на горячую кладку. Со двора послышались голоса — мать распекала кого-то из прислуги. Господи, нашла время, до бала остались считанные часы, а с платьем еще столько работы. Она озабоченно поглядела на небо: не подвела бы погода — жарко, облачно, вот ни к чему эта жара, но может, Бог даст, обойдется без дождя...

Кто там еще из военных? Арнольди? Незнатен, некрасив, небогат, неумен. Вот, собственно, весь выбор из ближнего круга. Он и из дальнего не лучше. Опять же, все они уйдут в опасные экспедиции по Линии, где могут быть убиты. И кто она будет? “Вдова поручика...” — нет. “Поручица Зюзякина, в девичестве — Верзилина...” Славно!

Можно найти для забавы по медицинским рекомендациям, просто для развлечения... близость... но сколько можно в тряпочку, пора иметь своих детей, ставропольский врач утверждает, что ей нужно и можно рожать. Пока можно. Все-таки возраст, двадцать шесть лет. В Ставрополе есть человек, с которым она имеет по приезду короткие встречи, но так редко — город маленький, ничего нельзя скрыть...

Конечно, можно выйти замуж за штатского, их здесь много бывает, иные лучше всякого военного. Но тоже: много, а присмотреться не к кому.

Князь Васильчиков. Ну-у, к этому совсем не подступиться. Холоден, высокомерен, замкнут и непомерно чванлив. С большими претензиями на карьеру. Еще бы! Князь, фамилия. Отец — государственный муж, сенатор, правая рука у государя. И — скучен. Не танцует, не флиртует, не ухаживает. Скучен и холоден, видимо, и в постели. Хуже Столыпина. Нет, не надо. Хотя — неплохо бы и за него.

Кто еще? Недавно на водах появился Михаил Дмитриевский, молодой советник и, говорят, с неплохими перспективами, но опять, по слухам, совсем с ума сошел от чьих-то “карих очей” и якшается со ссыльными декабристами...

Мартынов? Вот, пожалуй, самая подходящая партия. Майор, хоть и в отставке. Не ахти звание, но все же. Со временем, когда страсти по его увольнению улягутся, вновь может поступить на службу. Правда, ходит глухой толк, будто трусоват в деле и нечист на руку в карточной игре. Она не верит. За каких-то пять лет службы — майорское звание, орден Святой Анны, двадцать семь благодарностей по службе — и трусоват? Злословите, гос-

пода офицеры! Намекают, что уволен со службы за амурную историю с женой полкового командира. Ну и что? Чтобы у такого красивого и холостого мужчины не было романа? Странно, если бы не было. С женой товарища, командира... Да что тут такого? У Глебова роман с женой самого командующего, а поди-ка, — уважают, в мужскую доблесть возвели. Завидуете, господа офицеры? Не за ваши ли языки Мартынов заплатился службой? Да Бог с ними, со слухами... Зато какой красавец! С таким-то за счастье показаться в столице, быть принятой в любом обществе. Богат, музицирует, даже что-то пишет...

Но тоже — человек со странностями. Почему ты до сих пор здесь, Мартынов? Говоришь, ждешь документы из полка об отставке? С апреля месяца? Да тебе их могут переслать куда угодно, куда скажешь. Тоже ищешь партию? Здесь, на водах? Тогда ты действительно глуп. Тебя, с твоей внешностью и богатством, мигом приберут к рукам самые видные девицы лучших русских фамилий, вместе с твоим дурацким кинжалом, папахой и по-татарски обритой головой. Или хочешь как можно быстрее восстановиться по службе? Скоро не получится, да и зачем тебе? До генерала, как ты мечтал, не дослужишься, а подвергать себя риску быть убитому каким-нибудь чеченцем в стычке — глупо.

Не надо тебе больше служить. От твоих имений такие доходы, что и без военного пенсионера вполне хватит на безбедное существование.

Чего ждешь, в таком случае, чего выжидаешь? А я бы тебе не отказала. Давай, мой ами, смелее, довольно слов и поз. Намеки тебе сделаны уже до неприличия прозрачные, я готова, не откажу. Или тебе нравится рыжая Надин? Тогда другое дело: молодая, привлекательная. То-то все с ней воркуешь. Да ведь и с ней у тебя одни слова да позы. Надин секретов хранить не умеет.

На дуэль вызвал Лермонтова. Конечно, тебя можно понять, злота Лермонтов затравил тебя, как зверя... Нынче утром к ней приходили озабоченные офицеры с просьбой отговорить от дуэли противников.

Она вначале не поверила.

— Да было бы что новое, а то избитая острога, Мартынову давно привыкнуть пора, — недоумевала она, убедившись, что это не розыгрыш, которым молодые офицеры решили позабавиться среди пятигорского безделья. — Лермонтов сразу мне сказал, что завтра они снова будут добрыми друзьями.

Но дело оказалось серьезнее. Мартынов решительно настроен стреляться. Никакие уговоры друзей не могут разубедить его. Поэтому они пришли к ней как к последнему способу примирить двух недавних приятелей.

— Поговорите с Лермонтовым, — просил Васильчиков. — От своего имени. Пусть извинится. Он сам знает, как уладить. Важно будет, что об этом вы попросите, — многозначительно налег князь на “вы”.

— Я? Поговорить с Лермонтовым? О чем? Ах, да... Но вы же знаете, господа, как трудно с ним разговаривать. Он просто несносен!

— Вы, именно вы, — проникновенно сказал Глебов. — Вас он послушает, — и молодой офицер заалел лицом. К нему на помощь пришел Васильчиков.

— Тем более что вы, — он доверительно понизил голос, — являетесь причиной.

— Господи, я-то при чем? — сделала она в ответ изумленные глаза, уже сама чувствуя свою роль, свое значение в этой истории. — Они оба для меня равны, как и все вы, — переводила она взгляд с одного на другого. — Фу, какие глупости вы говорите! А где он?

Ей сказали, что Лермонтов вчера утром уехал в Железноводск. Это недалеко, можно прямо сейчас съездить. Или дожидаться его из Железноводска в Шотландке, что в семи верстах от Пятигорска, это совсем рядом. Там у них намечена встреча перед дуэлью.

— И верхом, верхом! — радостно загорелся Глебов, не сводя с нее восхищенных глаз. — Отличная прогулка! Вы же прекрасная наездница! Я захвачу ружье, вы как-то просили...

— Уехал? — разочарованно переспросила она и задумалась. Ее воображению тотчас представилось, как это может выглядеть впоследствии в рас-

сказах: она в черкесском костюме, в окружении молодых офицеров бешено скачет среди опасных гор по каменистым дорогам, иногда по сторонам слышны выстрелы немирных горцев, гибельный крик абреков. Она не обращает внимания — скачет, чтобы предотвратить смертельный поединок, спасти одному из них жизнь, а может, и обоим: ведь всем известно, что два недавних друга стреляются из-за нее. Но тут вспомнила о нынешнем бале, недошитом платье, о том, как утомит ее верховая прогулка, отразится на внешности, и ее усталость сразу заметят на балу.

— Уехал, — задумчиво повторила она и отказала: — Боюсь, господа, что мое вмешательство лишь испортит дело. Кто-то из них истолкует знаком предпочтения. А у меня, признаться, нет оснований. — И оживилась: — Не лучше ли вам попросить маман? К ее просьбе они больше прислушаются. Она с ними по-матерински поговорит...

— Но поссорились они не из-за маман, — грубовато ответил Глебов и, смягчая сказанное, добавил: — Ваши убеждения, ваши слова гораздо важнее для них. Предпочтение? Так проявите предпочтение явно, чтобы им стало понятно, кому!

— Неужели все так серьезно? — перебила она, догадавшись, к чему клонит конногвардеец. — Мне думается, обойдется без дуэли.

— Мартынов просто взбешен, — возразил Глебов, — непременно хочет стреляться.

— Это все его язык, — задумчиво сказала она. — Ведь я его не раз предупреждала: Михаил Юрьевич, нельзя же так... А что если прибегнуть к властям, поговорить с Безобразовым?

— Эмилия, дорогая, — проникновенно заговорил Глебов, — это будет доносительством с нашей стороны. По правилам офицерской чести... Кстати, мы все условились молчать, поэтому и вас просим никому не говорить о нашем разговоре.

— Хорошо, — согласился Васильчиков. — Лермонтова нет, но не могли бы вы поговорить с Мартыновым? Он здесь. Хотите, мы пошлем за ним?

— О чем? — живо спросила она. — Ведь это он вызвал Лермонтова? Правильно ли я поняла? Но в таком случае не все так просто, как вы говорите, — улыбнулась она обворожительной улыбкой. — По вашим словам, я должна просить Мартынова взять вызов обратно? Он ни за что не пойдет на это. Прибегаете к помощи слабой женщины? Хуже, чем доносительство. Нет? Я плохо разбираюсь... Что, по-вашему, я должна сказать Мартынову?

— Да так и скажите: Николай, вы меня пугаете этой дуэлью, — подсказывал Васильчиков. — Вдруг вас ранят или того хуже — убьют...

— Пугаюсь? — усмехнулась она. — Слово “пугаться” опасно говорить Мартынову.

— Найдите другие, — уверенно продолжал Васильчиков. — Вы знаете, как и что сказать, чтобы не обидеть.

— А что же Столыпин? — перебила она. — Уехал с Лермонтовым? Вот как! Его это не беспокоило? Ну, хорошо, пусть приходит. Я, правда, далека от мысли, что мои слова возымеют действие...

Офицеры сухо откланялись.

Она сдержала слово: на расспросы матери и сестер, о чем это она заговорщицки беседовала с ними и почему они приходили такие хмурые, ответила, что пятигорские офицеры раздосадованы скорым приказом Траскина раздохаться по своим полкам всем, кто без уважительной причины находится в Пятигорске.

Мартынова до сих пор нет. Он и не придет. Что ж, его можно понять. Сколько можно безнаказанно потешаться!

Небо помалу мутнело, облака таяли, превращались в поволоку, горы туманились. Ветер стих, и казалось, что стало еще жарче.

Ей еще в разговоре с офицерами стало ясно, что не надо никого отговаривать от дуэли. Пусть стреляются. Да, она признает, что истинной причиной ссоры отчасти является она. Недаром офицеры пришли не к сестрам, а к ней, даже у матери не пожелали попросить совета, помощи. Несомненно, о дуэли узнают не только здесь, в Пятигорске и Ставрополе, наверняка

станет известно в столице. На устах будет ее имя — Розы Кавказа. Из-за нее стрелялись. Один — первый красавец на Линии, второй — известный поэт. Это так романтично! Пусть стреляются. Но с чего началось? И она вновь стала припоминать подробности воскресного вечера...

7. ВЫСТРЕЛ

Лермонтов, Дорохов и Бенкендорф остановились на краю поляны, Столыпин, Трубецкой и Глебов прошли к беседающим. Мартынов тотчас же покинул собравшихся и встал неподалеку от своего противника, мрачно наблюдая за происходящим. На середине поляны остались одни секунданты. — Начнем? — деловито спросил Трубецкой и, получив молчаливое согласие напарника, вынул из ножен шашку и с силой вогнал ее в землю. — Вот барьер! — громко объявил он.

Столыпин снял фуражку и подал ее Глебову — считай шаги.

Глебов отсчитал десять шагов на юг, к Машуку, положил наземь фуражку. Столыпин, внимательно следивший за ним, просчитал глебовские шаги своими длинными ногами, отбросил фуражку еще на несколько шагов и остановился возле нее, чем установил границу для одного дуэлянта, и вернулся к барьеру.

Глебов подал ему свою фуражку. Трубецкой и Васильчиков подали свои фуражки. Столыпин вымерил расстояние и в другую сторону.

На крайние точки — положил по фуражке.

Пока он вымерял расстояния, Глебов зарядил оба пистолета — кухонрейторы, дальнобойные.

Все было готово к началу поединка. Трубецкой, Васильчиков и Столыпин отошли в сторону, теперь командовал один Глебов, стоя у шашки.

Быстро темнело, тяжелые грозовые тучи, и тяжким подземным гулом донесся первый раскат грома.

Он дал знак дуэлянтам подойти*. Мартынов снял черкеску, повесил ее на куст и первым подошел к Глебову, который отвел его на исходную позицию.

Лермонтов расстегнул сюртук, весело глянул на приятелей, замороженно следивших за тем, что происходит на поляне, и тоже подошел к шашке, где его ждал Глебов. Он вручил дуэлянту пистолет и также отвел его на исходную позицию. Возвратясь к барьеру, встал лицом к наблюдателям.

— Готовы? — крикнул он, поочередно повернув голову к дуэлянтам. — Сходишь! — и взмахнул рукой.

Мартынов повернул пистолет курком в сторону, что он называл стрелять “по-французски”, и, на ходу прицеливаясь, пошел к барьеру.

Лермонтов встал к нему правым боком, поднял руку, прикрыв ею грудь: пистолет держал дулом вверх, прикрывая правую сторону груди, и остался на месте.

— Раз! — крикнул Глебов.

Мартынов уже подходил к барьеру. Все замерли. Лермонтов по-прежнему оставался на месте, лицо его приняло удивленное выражение — противник, подходя, держал его на прицеле, готовый в любое мгновение дать свой выстрел.

— Два! — крикнул Глебов.

Мартынов стоял уже у барьера, держал противника под прицелом.

Удивленное выражение на лице Лермонтова сменилось недоумением. Все, кто был на поляне, замерли. Казалось, что кто-то сковал им руки, запечатал уста.

— Три! — уже испуганно, не выдержав напряжения, вскрикнул Глебов. Наблюдавшие словно очнулись: после этой команды ни один из противников не имел права на выстрел, дуэль полагалось начинать сначала.

* По дуэльному кодексу секунданты (или распорядитель) обязаны были отвести каждый своего дуэлянта на исходные точки.

Опытный Дорохов облегченно вздохнул. Приопустил свой пистолет Мартынов. Но тут Трубецкой, не выдержав напряжения, крикнул:

— Стреляйте, или я развожу вас!

Мартынов недоуменно оглянулся на него: этой команды уж никак не должно быть. Обернулся к Трубецкому и Лермонтов и, по-прежнему держа пистолет вверх дулом, презрительно и громко крикнул на ветер секунданту:

— Я в этого дурака стрелять не стану!

Мартынов с искаженным в злобной ярости лицом вскинул пистолет, прицельно выстрелил. От страшного удара Лермонтов согнулся в поясе, выронил пистолет, и, захватив рукой рану, подогнув колени, тяжело рухнул навзничь.

Присутствующие остолбенели. Первым опомнился Глебов, кинулся к упавшему. Наклонясь над ним, он услышал, расслышал последние в лермонтовской жизни слова: “Миша, умираю...”. Глебов судорожно, обрывая пуговицы у него на рубашке, осматривал рану.

Тут очнулись, подбежали остальные, обступили их. Лицо Лермонтова смертельно бледнело, кровь заливала весь правый бок, стекала на землю, тело мелко задрожало предсмертной дрожью. Последним опомнился Мартынов.

С искаженным в страхе лицом подбежал, растолкал обступивших Лермонтова, упал возле него на колени.

— Миша, прости мне! — дико закричал он в смертельно бледное лицо с потускневшими, полуприкрытыми глазами. Но Лермонтов его уже не слышал, он уже ничего не слышал на этой земле. Наступила смерть. Это стало очевидно для всех.

Мартынов все еще сидел рядом с Глебовым у головы убитого. Стольпин с помертвевшим лицом, одеревенелыми губами медленно сказал сверху Мартынову:

— Уходите! Вы сделали свое дело.

Мартынов в ужасе схватился за голову и тем же диким голосом завыл над убитым. Трубецкой грубо схватил его за плечи, поддернул кверху, а когда тот, поднявшись, безумными глазами глянул на него, он властным взглядом отогнал его прочь. Спотыкаясь, пьяно качаясь, Мартынов побрел на край поляны. На него уже не смотрел никто.

Глебов окровавленными руками приподнял голову убитого, бережно положил ее к себе на колени. Все в молчании, сбившись в круг, с незнаваемо омертвелыми лицами, стояли в молчании, глядели на бездыханное тело, на скорбившегося над ним Глебова. У Бенкендорфа на губах застыла все та же улыбка, с которой он улыбался началу дуэли.

Разум отказывался воспринимать случившееся. Но стали помалу понимать, что выкрик Трубецкого и последующий выстрел Мартынова превратили дуэль в убийство.

— Доктора... — слабо сказал Стольпин.

— Какой доктор, — глухо отозвался Дорохов, единственный, пожалуй, кто первым взял себя в руки, — увозить надо.

— Освидетельствовать на месте... — уже тверже сказал Стольпин. — По правилам... и телегу, извозчика. В бегунцы не уложить...

Мартынова не было. Он уехал верхом.

— Доктора, да и коменданту доложить, — пустым голосом сказал Трубецкой. — Чтобы все официально... Секунданты и прочее... Сколько нас?

Глебов поднял голову кверху, к обступившим его:

— Секундантом объявите меня одного. Вам никому... — вспышка молнии резанула по глазам, и второй, еще более страшный раскат грома, казалось, прозвучал над головами, заглушил последние слова конногвардейца, а когда умолкло, они услышали:

— ...нельзя заявляться.

И только теперь до всех стали доходить не только весь ужас содеянного, но и вся тяжесть для них последующих событий. Трагический исход поединка превратил их предполагаемое развлечение в сообщество людей, совершивших не уголовно наказуемое преступление перед законом, а грубейшее нарушение дуэльного правила — превратил их в преступников дела и чести.

— Господа, надо условиться, дать слово: дуэль прошла по правилам, отступлений не было. Вы понимаете? — Дорохов мертвыми глазами обвел присутствующих.

Еще бы им не понимать! Когда стоявшие согласились, он окликнул Глебова. Конногвардеец вновь поднял голову:

— Доктора, телегу... Уезжайте, господа!

Ливень хлынул сразу сплошной стеной. Но стояли, не в силах тронуться с места, преступность каждого становилась все тяжелее, давила душу. Началось осмысление. Надо было уходить, что-то делать.

Васильчиков пошел к лошадям, за ним — остальные. Трубецкой накинул на плечи свой плащ. У лошадей вспомнили о Мартынове. Его нигде не было, он уехал, лишь чернела на кусту, моталась под ветром, словно огромная, жуткая черная птица, силящаяся взлететь, но не в силах оторваться от земли, черкеска. Евграф перевел оставшихся двух коней ближе к поляне, коротко привязал и тоже уехал вслед остальным. На поляне под грозовым ливнем над телом Лермонтова остался один Глебов.

А Мартынов ехал дорогой — в непроглядной темноте, в грозовом мраке с молниями, под черным небом, сцепив зубы, пусто смотрел впереди себя.

Ливень хлестал, лил ручьем за ворот, насквозь промок бешмет, лило с отяжелевшей пахахи. Но он ничего не слышал, не ощущал: ни лившей ручьем, стекавшей по телу холодной воды, не слышал громовых раскатов, не видел мгновенных молний. Лишь временами больно хлестал глебовскую лошадь, которая разъезжалась ногами на каменисто-мокрой дороге, то и дело приседала — то ли под очередным раскатом грома, то ли под тяжестью страшного всадника.

* * *

Ни один из врачей, которых просил Васильчиков, ехать на место поединка не согласился: чего же мокнуть по такой погоде, когда явно убит. Привозите тело в город, здесь осмотрим, засвидетельствуем.

На конной бирже не оказалось ни одной свободной запряжки — либо тоже не хотели морочиться под дождем, либо в самом деле все были отданы в разезды.

И насквозь промокший Васильчиков, так и не добившись ничего, погнал обратно к месту дуэли. Стыдно было перед Глебовым: полтора часа мотался по городу и возвращается ни с чем.

“А может, надо было бегунцы взять? — пришло ему в голову на подъезде. — Как-нибудь уложили бы... коня под уздцы... довели бы. Ему уже все равно...” — тускло думал он, погоняя полузагнанного, напуганного грозой коня.

...Глебов не помнил, сколько просидел на коленях, горбясь над неподвижным телом, держа на коленях лермонтовскую голову. В страшном душевном оцепенении потерял счет времени и приходил в себя под громовыми раскатами, ослепительными вспышками, когда все странно освещалось потусторонним светом, бледно-зеленым огнем.

Слышал, как после каждого удара жалобно ржут, храпят, беснуются, бьются на коротких недоуздах в страхе кони. В жутком отупении ждал, под громовыми раскатами, не чувствуя холодных струй, стекавших за ворот по спине за пояс. Уже не было никаких мыслей, мысли обрывочно путались, в памяти бессвязно вспыхивали, подобно этим молниям, различные картины, воспоминания, живой, смеющийся Лермонтов у фрау Рошке, голоса приятелей, лица, лица... без времени, места... неуместные вспыхивали картинки. Наконец, стало помалу стихать, реже и отдаленнее слышались громовые шумы. Гроза медленно пошла на убыль.

Он бережно опустил лермонтовскую голову на землю и едва поднял себя на затекшие ноги. Сильнее чувствовалась боль в руке.

Глебов медленно приходил в себя.

Среди светлеющего неба в облаках обозначилась луна. Он прошел к лошадям, успокоил их и попытался раскурить трубочку — не получилось, всё

промокло — тавлинка, огниво. Запах табака, присутствие человека успокоили лошадей. Но стояли по-прежнему чутко.

Неожиданно до него донесся слабый человеческий голос. Он даже вздрогнул, не разобрав, откуда, показалось, что это лермонтовский голос. Но крик повторился, и Глебов понял, что окликают с дороги.

Он вышел на дорогу и увидел верхового.

— Кто такой? — громко спросил Глебов издали, чтобы не напугать и коня и верхового внезапным появлением из-за кустов.

Верховой сошел с коня и пошел навстречу. Оказалось, это был мартыновский слуга, Ильюшка, — послан барином за черкеской, а места не знает, вот и окликал. Глебов вспыхнул злобой: “Забрать черкеску! Не забыл, подлец! Послал. А сам сидит в теплой комнате, чай, небось, горячий попивает... после дела!”

— А он не сказал тебе, как забрать убитого им Лермонтова? — со злостью спросил Глебов слугу, понимая, что злость не по адресу. — Что там, едет кто? Князя Васильчикова не видел? И ничего не слышал? Коней, телегу?

Перепуганный Ильюшка ничего не знал. Глебов привел его к телу, показал, где висит черкеска. Перепуганный Ильюшка впал в оцепенение. Глебов отпустил его, наказав, если увидит где князя Васильчикова с докторами, чтоб поторопились. Илья уехал.

Да он, собственно, и не нужен был. Глебову нужен был транспорт, доставить убитого в город. Он понимал, что все, кто недавно был рядом, — пустые, никчемные фигуранты. Болтуны, ускакали, теперь сидят по своим квартирам, а он один в лесу, при убитом Лермонтове. Более того, он один будет отвечать за случившееся. Он один предстанет перед следствием и судом, где вынужден будет лгать, чтобы не выдать их всех, которые так хотели позабавиться, а теперь забились в страхе по своим квартирам...

Небо совсем очистилось. Все то страшное, необычно грозное ушло, сползло за горы. Наступила особенная после грозы тишина. Еще догорала заря, зеленело на западе длинной малиновой полосой, странно было видеть этот полусвет после кромешной тьмы, аспидной черноты и грохота. Вскоре послышался конский топот. У Глебова отлегло от сердца — едут за телом. Но каково же было его разочарование, когда верхом подъехал один Васильчиков.

Он потерянно, путано оправдывался. Глебов слушал его с возрастающим озлоблением. Подумал: “Чваниться умеешь, а на простом деле опростоволохился”. Злился и на себя: зачем отпустил всех, в том числе и Евграфа, отпустил Ильюшку?

Надо было что-то предпринимать...